Мы — Кассиль

Издательство «Детская литература»

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Абрамович Кассиль
  -
  - В жизни, в стихе, в бронзе
  - Детство
  - Товарищ Константин и «высокий»
  - Стих родится и крепчает
  - «Моя революция»
  - Людогусь путешествует
  - На капитанском мостке
  - Что такое хорошо и что такое плохо
  - Маяковский живет
  - «Из зева до звезд»
  - Маяковский в большом
  - Двадцать лет работы
  - Четырнадцатое апреля
  - Жилая площадь поэта
- notes
  - 1

Лев Абрамович Кассиль
Маяковский – сам. Очерк жизни и работы поэта

Маяковский-сам

Очерк жизни и работы поэта

В жизни, в стихе, в бронзе

Тема
Я – поэт. Этим и интересен. Об
этом и пишу. Об остальном – только
если это отстоялось словом.

В. Маяковский, «Я сам»

Маленький бронзовый бюст стоит на моем рабочем столе. Его принесли мне когда-то двое крепеньких, аккуратных и очень серьезных пареньков – ребята из одного московского художественного ремесленного училища, где я за месяц до этого рассказывал о Маяковском. И вот они сами вылепили, отлили и вычеканили в подарок мне небольшой бюст поэта.

Буйные волосы, разлетающиеся в ветре. В гордом повороте вскинута голова. Вольно повязан шарф, и концы его отброшены за плечи…

Таким представили себе поэта юные московские «ремесленники».

А в Америке, куда давно, задолго еще до того как ее посетил поэт, донеслись раскаты его громоподобных стихов, ходят и по сей день легенды о Маяковском. Будто жил в России, когда грянула там революция, поэт совершенно необыкновенный… Был

он ростом, талантом и голосом исполин. Рассказывают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронт и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновленные его стихами, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам буквами вышиной в фут. Его плакаты на гражданской войне были смертельными для врага, как штыки. Громким, как аэропланный мотор, голосом читал он по радио стихи, и советский народ жадно слушал его во всех концах земли. Бас поэта был так могуч, что, когда он, стоя на командирском мостике броненосца, декламировал свой знаменитый «Левый марш», грозный голос его, покрывавший орудийные залпы, слышен был на всех кораблях Кронштадта…

По-своему, по-разному рисуют себе облик Маяковского люди, которые полюбили его стихи, но никогда не видели поэта в жизни.

О Маяковском написано уже много книг, а напишут еще больше, потому что людям всегда будет интересно знать, как жил, как работал, как звучал и двигался в жизни великий поэт революции Владимир Маяковский, наш современник, наш славный и верный товарищ.

Меня судьба одарила счастьем знать Маяковского в жизни, быть одним из его учеников.

И я всегда старался счастьем этим поделиться с другими где только мог.

Как-то в 1935 году, во время одной из поездок с моими друзьями-футболистами, мы оказались у Эгейского моря, в древней Бергаме, на развалинах знаменитого античного театра.

Спутники мои расселись по верхним ярусам полуразрушенного амфитеатра. А меня оставили на дне его, у так называемой «орхестры». И, желая проверить акустику, о которой мы были наслышаны, стали просить, чтобы я «грохнул что-нибудь подходящее».

Я оглядел снизу выщербленные скамьи, разбегавшиеся вверх от меня по раструбу руин, подобно тому как разбегаются от берега по воде круги от оброненного камня. И, примерившись к головокружительным габаритам котлована и возрасту его, стал читать Маяковского:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,

зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.

И всем нам ясно послышалось, как тысячелетнее эхо, сонно обитавшее среди камней, еще более древних, чем те, которые ворочали рабы Рима, снова радостно воспрянуло, откликнувшись на зовы этих циклопических строф. Мы вдруг почувствовали себя на крутой орбите, по которой мечта, поэзия, искусство человечества «через хребты веков» рвутся в «коммунистическое далеко»…

Мне приходилось рассказывать о Маяковском в Испании, в те дни, когда там шла гражданская война против фашистов и наш корабль «Комсомол» стоял под сенью пальм и под бомбами франкистов у причалов Аликанте или в порту Вильянуэва дель Грао, близ благоухавшей розами Валенсии. И солдаты-республиканцы, грузчики, моряки, бойцы Интернациональной бригады, едва прослышав, что на борту советского корабля находится человек, знавший Маяковского в жизни, шли к нам на теплоход, чтобы расспросить о поэте…

Во время Великой Отечественной войны на одном из участков Западного фронта, в лесу за Сухиничами, когда мы раз дождливой ночью оказались отрезанными от своих – в тылу у нас гитлеровцы сбросили десант парашютистов – и нам приказали быть в боевой готовности, молодой командир пришел ко мне в палатку и стал просить: «Раз вы уж тут с нами застряли, может быть, расскажете нам о Маяковском? Ведь все равно не спать… А нам еще в мирное время хотелось послушать о нем». И до самого рассвета, пока не пришел приказ двигаться на соединение со своими, я рассказывал в отсыревшей палатке о Владимире Владимировиче…

В 1945 году в освобожденном Белграде довелось мне целый вечер говорить о Маяковском в большом зале, где собрались вчерашние партизаны и солдаты Народной югославской армии.

А потом мы шли ночью по разрушенным улицам Белграда, шли, взявшись за руки, широкими рядами поперек мостовой, от тротуара к тротуару. И я читал во все горло «Левый марш» по-русски, а спутники мои вторили мне на сербском и хорватском языках. И рядом со мной шагал бородатый черногорец, который был бойцом Интернациональной бригады в Испании и когда-то пришел ко мне на корабль в Аликанте, чтобы послушать

человека, знавшего лично Маяковского.

Мне доводилось рассказывать про Маяковского за Полярным кругом в кают-компании гвардейского миноносца, в Баренцевом море, в блиндажах североморской пехоты на Рыбачьем полуострове, отрезанном врагами от родной суши с первых дней войны.

Дважды выпадал мне случай вести беседы о нашем славном поэте среди просторов Атлантического океана. Один раз – вскоре после войны, когда во время похода из Балтики в Черное море, вокруг Европы, моряки нашего корабля собрались на полубаке и по очереди читали вслух стихи Маяковского; другой раз – на большом теплоходе, который вез туристов вокруг Европейского континента с юга на север.

Потом на столе моем появился массивный кусок благородного Лабрадора, в жилах которого глухо посверкивает дымчатое голубоватое пламя – сколок с гранитного постамента памятника Маяковскому в Москве. Он напоминает мне о дне, когда на площади поэта я рассказывал про то, каким был Маяковский в жизни, людям, которые через несколько дней воздвигли его в бронзе.

А совсем недавно, во время поездки по Италии, я оказался в Генуе, на родине Христофора Колумба, чьи следы мерещились нашему поэту в водах океана, когда он открывал для себя Америку, и неподалеку от дома, где когда-то жил великий генуэзец, увидел на одной из дверей дощечку с надписью: «Культурный кружок имени Владимира Маяковского». И в тот же вечер много старых и молодых генуэзцев пришли сюда, чтобы послушать о поэте, именем которого они называли свой кружок.

Все то, о чем я мог в таких беседах и поездках по разным уголкам нашей страны и далеко за ее рубежами лишь коротко рассказать моим слушателям, более подробно рассказано в этой книжке.

Эта книжка о Маяковском, о нем самом, о его работе и жизни. Она написана по моим личным воспоминаниям и записям о поэте, а также по рассказам, статьям, выступлениям, книгам людей, знавших Владимира Владимировича: Н. Асеева, Л. Брик, О. Брика, В. Каменского, В. Катаняна, С. Кирсанова, С. Кэмрада, П. Лавута, А. Маяковской, Л. Маяковской, В. Перцова, А. Родченко, С. Спасского, С. Третьякова, Э. Триоле, К. Чуковского, В. Шкловского, А. Эльберта и других.

Но везде, где только можно, я предоставляю слово самому поэту.

Пусть Маяковский сам, живой и громогласный, придет к молодым читателям и договорится с ними.

Детство

Я – дедом казак,
другим – сечевик,
а по рожденью грузин.

Заполнены все скамьи, все проходы на округлой крутизне трибун московского стадиона «Динамо».

Вперемежку со взрослыми – ребята: школьники и малыши.

А на овальном зеленом поле в торжественном строю стоят под своими знаменами юные пионеры.

Посланцы пионерии СССР. Они съехались со всех концов нашей Родины на первый всесоюзный слет.

В этот день он закрывается. И десятки жителей столицы пришли проститься с маленькими красногалстучными гостями.

Больше недели Москва радушно принимала их в своих домах как временных, но желанных постояльцев. Отгремели марши. Прозвучали приветствия. Ребячье «ура» уже не раз перекатилось из края в край стадиона.

И вдруг во весь огромный размах его, гремя в десятках рупоров, раздается могучий голос:

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.

Голос так силен, что, где бы ни сидели люди на трибунах, где бы ни стояли пионеры на поле, каждый слышит звучные, заполнившие как будто все пространство мерные и зовущие строки:

Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!
Сюда,
миллион сестер!

А на трибунах многие из ребят, сидящих рядом со своими родителями или прямо на коленях у них, повторяют строки стихов и водят пальцами по только что вышедшему номеру «Пионерской правды»: там на первой странице напечатаны слова, раскатывающиеся теперь по всему стадиону:

Растем от года к году мы,
смотри,
земля-старик,—
садами
и заводами
сменили пустыри.

Словно обегая горизонт, по широким дугам скамей длиною в сотни метров, охватывая и зеленое поле и бетонные трибуны, стеля в небе, как красные строки, вымпелы на башнях, гремят последние слова:

Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
один вожатый —
товарищ ВКП.

Заплескали десятки тысяч ладоней. Рокот аплодисментов с зеленого поля кругами разбегается по склонам трибун.

И вот тогда из маленькой радиорубки выходит очень высокий, плечистый и сурово-красивый человек. Многие сразу узнают его. Это его подпись стоит на первой странице «Пионерской правды» под стихами, которые только что отгрохотали над стадионом.

«Вл. Маяковский» – напечатано под стихами в газете.

Сейчас сам Маяковский, громадный, широкоплечий, показался на трибуне. Он оглядывает, как всегда, по-хозяйски, внимательно и радушно стадион и спускается вниз, без труда шагая через барьеры, переходя с трибуны на трибуну, из ряда в ряд, с веселым и азартным любопытством осматривая переполненные ярусы.

– Что делается! – гудит он негромким басом, оборачиваясь к едва поспевающему за ним спутнику, который потом расскажет об этом дне в своих воспоминаниях.– Что делается! Ведь это же социализм! Чтобы десятки тысяч человек приходили смотреть

каких-то детей!

Иногда его останавливают милиционеры, следящие за порядком на трибунах. И тогда он вытаскивает из кармана все свои удостоверения и корреспондентский билет:

– Я писатель, газетчик… Я должен все видеть…

И милиционеры пропускают этого широко шагающего, легко перемахивающего через барьеры доброго великана.

Потом он еще раз оглядывает стадион, переполненный десятками тысяч москвичей, зеленое поле, на котором белеют рубашки и ярко горят красные галстуки. Вскинув голову, он смотрит на небо, к которому поднялись нарядные флаги. Вдохнув широко, во всю свою просторную грудь, августовский воздух, мечтает вслух:

– Написать замечательную поэму, прочесть ее здесь – и потом можно умереть…

Ему по сердцу крутой простор трибун, по голосу такая аудитория!

…Так он много лет назад мечтал, поднявшись по тбилисскому фуникулеру на гору Давида, вершина которой царит над столицей Грузии.

– Вот это аудитория! – Он оглядывал тогда с высоты необъятность разбежавшегося горизонта, радовался: – С эстрады этой горы можно разговаривать с миром: так, мол, и так, решили тебя, старик, переделать!

Собирал вокруг себя незнакомых девушек и юношей:

– Куда идете, зачем? Бросьте! Давайте вместе… Идемте с нами читать стихи. Вот где должны рождаться сами и звучать на весь мир стихи.

Уже горячее мартовское солнце припекает Тифлис. Южная весна полна крика уличных торговцев, блеска витрин, цоканья копыт. Смуглые и горластые юноши, чьи плечи окрылены башлыками, идут гурьбой за приезжим. Он высок, худ, большерот, а огромные глубокие глаза пожирают залпом и небо, и горы, и солнце. И вот он разглядел кого-то через головы окружающих.

– Гамарджоба![1] – приветствует он, подняв руку.

И люди вокруг шарахаются, слегка оглушенные этим рыком, приятно удивленные, что незнакомец так легко и чисто говорит по-грузински.

И откуда-то уже бросается навстречу целая ватага большеглазых, шумных, загорелых юношей.

– Гагимарджос, Володя!

– Здравствуй, Маяк!

– Здравствуй, генацвале!

И высокого обнимают, теребят за желтую кофту, дотягиваясь,

хлопают по широкому плечу.

Так идут гурьбой, читают стихи, горланят. На ходу, взвившись на носки, пробегают лезгинкой. А он тормошит друзей, расспрашивает, рассказывает, вспоминает школьные проделки, дни в Кутаисской гимназии. Обводит сильной и легкой рукой горизонт:

– Вот там, за горами, мой исток. Запомните! Едем в Кутаис, в Багдади! Взойдем к моим истокам.

…Его родина – небольшое село Багдади, теперь Маяковски. Островерхие горы окружают его. Красноватые долины полны винограда. Горная река Ханис-Цхали вбегает в Багдади и, свернув в нем, вытекает из села, как вино из бочки.

Россия далеко – за перевалами, за снегами.

Оттуда доходят облака и газеты.

Возле моста через Ханис-Цхали, в доме Кучухидзе, 19 (7) июля 1893 года в семье багдадского лесничего родился Владимир Маяковский. Рождению мальчика были рады в доме лесничего: в семье росли уже две девочки – Люда и Оля.

Отец – лесничий Владимир Константинович Маяковский, высокий бородатый человек, шумный в веселье и гневе. Этого громкоголосого душевного человека любят во всей округе. Крестьяне дружат с ним, запросто приходят к лесничему в гости. Ему приходится совершать далекие объезды лесов. Он карабкается по кручам, бродит над пропастями, спит в лесу, подкладывая седло под голову. Силач, он одной рукой вскидывает над головой бочонок с вином. Когда он сердится, голос его хорошо и далеко слышен на том берегу Ханис-Цхали.

Большеголовый, крупногубый мальчик Володя Маяковский растет в дружбе с отцом. Иногда отец берет его в верховые объезды лесничества. У них много веселых тайн: тихонько от девочек отец Володи вместе с ним выпускает на волю пленников из домашнего зверинца.

Володя занимается с мамой и, как потом он говорил, «всякоюродными сестрами». В шесть лет он умеет читать. Но первая книжка, самостоятельно им прочитанная, приторная детская книжонка «Птичница Агафья», разочаровывает его так, что он твердит огорченно:

– Из-за этого учиться не стоило!.. Если все книжки такие, нарочно разучусь читать.

Но старшая сестра Люда, готовя как-то урок, читает вслух пушкинского «Узника». Стихи эти поражают мальчика. Впервые он слышит слова, исполненные такой силы, таящейся словно в самом сердце. Едва дослушав, он убегает в горы, не отвечая на зов сестры, чтобы скрыть от девочек волнение.

Теперь он сам начинает много читать, легко заучивает наизусть стихи и в дни семейных праздников, когда в доме лесничего поют то по-грузински «Мравалжамиер», то по-украински «Ой вы, хлопцы-баламуты», председатель пира, тулумбаша, ставит Володю на стул, и будущий поэт, скосив глаза на чурчхелу и инжирное варенье, читает громко и старательно:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор…

Слово «соплеменных» маленький чтец произносит с нескрываемой ненавистью, так как не знает, что оно значит, хотя звучит подозрительно… Восторженные гости предсказывают лесничему, что сын его далеко пойдет.

Володе хочется стать скорее голосистым, басовитым.

Он прислушивается к собственному голосу и, чтобы испробовать его силу, придумывает такое испытание.

Во дворе у дома в землю врыты огромные глиняные кувшины – чури. В них хранят вино. Володя залезает в порожний чури и отсылает сестру Олю в самый дальний угол двора. Тщательно декламирует он на дне гулкого кувшина очень нравившиеся ему стихи Майкова «Пастух»:

Был суров король дон Педро…

Его интересует, далеко ли слышно и как звучит его голос, поддержанный резонансом чури.

Потом окружающие замечают, что он и сам пробует складывать стихи, иногда даже говорит в рифму. Несколько раз подряд от начала до конца перечитывает он «Дон-Кихота». Сделав деревянный меч и латы, он носится по горам «рыцарем печального образа» и разит окружающее.

Однажды семья отправляется посмотреть Гелатский монастырь, недалеко от Кутаиси. Заходят в церковь. Идет служба на грузинском языке.

– Мамиса, дадиса, сулиса!..—бубнит священник. И вдруг Володя в тон ему подхватывает:

– Крутися, крутися, колесо, чтобы дело наше пошло хорошо!

А голос у него уже такой, что слышно во всех углах церкви. Все смеются, разобрало даже богомольную тетку. Володю спешно выпроваживают из церкви.

Так кончается первое публичное выступление Владимира Маяковского.

Когда ему исполняется семь лет, мать Александра Алексеевна отвозит сына в Кутаиси.

Весной 1902 года Володя держит экзамен в Кутаисскую гимназию, в старший приготовительный класс. Арифметика прошла хорошо, хотя незадолго до этого наука о числах казалась Володе Маяковскому совершенно неправдоподобной. Привыкший к обилию фруктов, он никак не может понять, зачем нужно считать яблоки и груши. Складывать их он еще согласен, но вычитание кажется мальчику делом уж совершенно ненужным.

Неприятности начинаются на экзамене по русскому и церковнославянскому языкам. Священник спрашивает:

– Что такое око?

– Три фунта, – быстро отвечает Володя, так как «око» по-грузински – три фунта.

Обиженный экзаменатор напоминает поступающему, что тот находится в гимназии, а не на грузинском базаре. И Маяковский впоследствии пишет в своей автобиографии: «Возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское». Должно быть, потому, что древний церковнославянский язык был языком церкви.

В гимназию его принимают.

Кутаисским гимназистам долговязый мальчик из Багдади кажется провинциалом. Его дразнят, задевают. Но новичок из Багдади при первом же столкновении показывает обидчикам, чего он стоит в драке. А вкусная багдадская чурчхела, которой он великодушно угощает побежденных, окончательно укрепляет его авторитет в классе. Кроме того, оказывается, он хорошо рисует, может изображать смешные вещи и, если надо, срисовывать корабли для товарищей.

Популярность его в классе растет. Вскоре он становится членом «гетгутской бригады», как называют свою озорную компанию мальчики с Гетгутской улицы. Бригада совершает налет на цветник полковника Курхашвили. Попавшийся Володя Маяковский наотрез отказывается назвать участников набега. Негодующий полковник сажает его в погреб. Но ни холод, ни страх не могут сломить упрямства мальчика. Узника освобождают.

Все больше и больше увлекается Володя рисованием.

Сестра Люда ведет его в студию художника Краснухи. Пока сестра показывает художнику рисунки брата и договаривается об уроках, Володя, к великому конфузу старшей сестры, успевает набросать на клочке бумаги карикатурный портрет бородача хозяина в его мастерской.

Художник смеется и, приглядевшись к рисунку, оценив

метким глазом смелую руку, соглашается безвозмездно давать Володе уроки рисования.

В гимназии Володя учится очень хорошо. Особенно успевает по истории и рисованию. Он идет первым учеником – «весь в пятерках».

Но наступает беспокойное время. Россия уже в войне с Японией, и знакомые люди уезжают с Кавказа на далекий погибельный Восток – сражаться и умирать под Мукденом.

Из России приходят невнятные, но злые слухи. Володя узнает новое слово, которое произносят шепотом: прокламация. («Прокламации вешали грузины, грузин вешали казаки. Мои товарищи – грузины, я стал ненавидеть казаков…»)

Сестра приехала из Москвы и привезла тайком длинные бумажки с революционными стихами. «Стихи и революция как-то объединились в голове».

Они объединились для Маяковского на всю жизнь. И недаром через много лет, уже прославленным поэтом, в зарю расцвета мастерства и дарования он напишет в своей известной статье «Как делать стихи», говоря о выборе длинных – «героических» или «веселых» – коротких размеров для стихов:

«Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с «вы жертвою пали в борьбе роковой…», а вторая – с «отречемся от старого мира…»

Так еще с раннего детства в сознании будущего поэта понятия о революционной борьбе и боевом назначении поэзии срастаются воедино.

Подошел 1905 год. Теперь Володе уже не до учения – посыпались двойки. Перешел в четвертый класс только потому, что «расшибли голову в драке на Рионе. На переэкзаменовках пожалели».

А вокруг уже назревают события, полные новизны и совсем не похожие на те, что описаны в гимназическом учебнике русской истории. Беспокойные, волнующие, они будоражат Маяковского, отвлекают его от занятий. Закипают митинги. Убит усмиритель Грузии генерал Алиханов.

На улицах начинают звучать слова, которые вчера еще люди боялись шепотом произносить даже у себя дома.

В витринах книжных магазинов выставлен «Буревестник» Горького, и даже шелест свежей газеты сегодня кажется гремящим, словно она напечатана на железных листах.

Володя втягивается в политическую жизнь Кутаиси. Он уже участник школьных забастовок, уличных демонстраций. В классах гимназии рвутся петарды. От имени товарищей Володя объявляет начальству, что никто не станет читать молитву. Его письма

домой полны теперь описаний этой разгорающейся борьбы.

«У нас была пятидневная забастовка. А после была гимназия закрыта 4 дня, так как мы пели в церкви «Марсельезу»…

Гимназия и реальное забастовали. Да и было зачем забастовать. На гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня на камне не оставят…»

Маяковский азартно вглядывается во все происходящее. Он роется в книжках, читает их запоем от корки до корки. Берется за брошюры и книги по политическим и экономическим вопросам, изучает Маркса, Энгельса, Бебеля в школьном марксистском кружке. А когда приходят домой с обыском – ищут оружие – и мать со страхом ждет, что сейчас будет обнаружена отцовская берданка, Володя спокойно следит за жандармами: он уже давно отнес отцовское ружье в городской социал-демократический комитет.

Теперь он готовит себя к политике. Он мечтает стать политическим оратором. Прочтя где-то, что оратор Древней Греции Демосфен исправлял недостатки речи, декламируя с камнями во рту, Володя ходит на берег Риона и произносит там длинные политические тирады, набрав в рот голышков.

Приятель его, повар священника Исидор, тот самый, что «от радости босой вскочил на плиту», когда убили генерала Алиханова, увещевает Володю:

– Да ведь твой грек, верно, заикой был. А у тебя вон голос какой! Чисто труба! Выплюнь ты их к черту, камни эти!

Вскоре Маяковский получает боевое крещение. При разгоне демонстрации в память убитого большевика Баумана над ним свистят нагайки казаков. В этот день Володе «попало большущим барабанищем по голове»… «Я испугался – думал, сам треснул», – шутил потом Маяковский.

Товарищ Константин и «высокий»

Меня ж из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

В феврале 1906 года умирает отец. Сшивая бумаги, он уколол палец булавкой. Началось заражение крови, и силач лесничий гибнет.

С угрюмой недетской силой переживает эту потерю Володя. Нелепая смерть отца – пустячный укол булавкой, поразивший большого, здорового человека, – оставляет след на всю жизнь в памяти Маяковского. Он теперь всегда будет с нескрываемой мнительностью относиться к каждому порезу, взыскательно осматривать поданную в буфете тарелку, с брезгливой опаской браться за дверную скобу, захватанную чужими руками…

Наступают тяжелые дни. После похорон отца в доме осталось три рубля. Лихорадочно распродают вещи.

Семья переезжает в Москву. Снимают квартиру на Бронной. Но не хватает денег на оплату квартиры и… «с едами плохо» – пенсия десять рублей в месяц. Приходится сдавать комнату жильцам. Чтобы помочь семье, Володя вынужден разрисовывать пасхальные яйца, заниматься выжиганием. Разрисованные яйца он продает в кустарный магазин на Неглинной по десять – пятнадцать копеек за штуку.

Кое-как переходит Володя в четвертый класс Пятой гимназии. «Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг». Беллетристики он не признает в это время совершенно. Философия, Гегель, естествознание – вот что его увлекает, «а главным образом марксизм».

У Маяковских в сданных комнатах живут два малоимущих студента с Кавказа. Оба социалисты. Володя быстро сходится с ними. Из комнат студентов идет нелегальщина. Володя изучает «тактику уличного боя», бережно прячет среди учебников синенькую ленинскую «Две тактики». Ему нравится, что книга срезана до букв – для нелегального «просовывания». Он и сам пробует писать в тайный гимназический журнал «Порыв».

Постепенно Маяковский втягивается в настоящую революционную работу. В 1908 году он вступает в Российскую социал-демократическую партию (РСДРП) большевиков. Володя кажется старше своих пятнадцати лет. Крепнущий бас и высокий рост помогают ему скрыть истинный возраст. Он становится пропагандистом. «Пошел к булочникам, потом к сапожникам и,

наконец, к типографщикам». На общегородской конференции Маяковского кооптировали в Московский комитет партии.

Теперь он зовется «товарищем Константином» – подпольная партийная кличка.

29 марта 1908 года полиция вторгается в подпольную типографию Московского комитета партии. Маяковский, нарвавшись на засаду, попадается со свертком прокламаций и подпольных газет. Его арестовывают. Он успевает съесть блокнот, где записаны важные адреса. Следователь, чтобы узнать, не он ли сам писал прокламации, устраивает ему допрос – проверочный диктант. Маяковский нарочно перевирает слова, пишет: «социаль-димократическая».

Вскоре выясняется его истинный возраст, который он скрывал. По малолетству его отпускают, но за ним устанавливается строгий надзор полиции.

Товарищ Константин выходит на волю, не зная, что у него уже есть и другое прозвище – Высокий. Так пишут о Маяковском следящие за ним на улице филеры, тайные агенты царской охранки. За ним следят по пятам, пишут подробные донесения, куда и зачем он ходил, с кем встречался. А он, ускользая от слежки, продолжает вести партийную работу. В рваных башмаках под дождем он носится из конца в конец города, выполняя партийные поручения. Все свободное время он упорно занимается.

Первая революция раздавлена. Царские власти безжалостно расправляются со всеми причастными к ней.

В квартире у Маяковских снимает угловую комнату худенький мальчик лет восемнадцати. У него делают обыск, его арестовывают. Потом Маяковские узнают, что их жилец повешен… В эту же комнату вселяется вскоре новый жилец. Он недавно окончил университет. Застенчивый, скромный человек. Однажды он не пришел ночевать, а наутро в отделе происшествий газеты Володя находит сообщение, что застенчивый жилец бросился под поезд. Он потерял работу, нуждался, не мог устроить свою жизнь.

Страшная, корявая, безобразная и бессмысленная жизнь окружающих людей напирает на семью. Но юноша Маяковский не сгибается – наоборот, он все более и более распрямляется внутренне, чувствуя, как все существо его набухает огромной негодующей силой, выразить которую он еще не в состоянии.

В январе 1909 года Маяковского арестовывают второй раз. Его пытаются привлечь по делу группы экспроприаторов. Никаких улик нет, но Маяковского держат под стражей. Он пишет письмо сестре, в котором просит, чтобы ему прислали книги, учебники.

Подробно, обстоятельно и точно перечисляет он книги, необходимые ему для занятий. Тут и алгебра, и геометрия Давидова, и латинская грамматика Никифорова, и немецкая грамматика Кайзера, и физика Краевича, и история русской литературы Саводника, и «Психология» Челпанова, и «Сущность головной работы человека» Дицгена, и первый том «Капитала» Маркса, и сочинения Толстого.

Как ни старалась охранка, никаких улик найти не могла, и 27 февраля 1909 года Маяковского освобождают из-под стражи.

Он учится в Строгановском училище. Училище это готовит прикладных художников, декораторов, художников для ткацких мастерских, граверов.

Живущие у Маяковских студенты-революционеры готовят в это время серьезное дело: собираются освободить из тюрьмы политических каторжанок. Мать и сестры Маяковского шьют платья, чтобы беглянки могли переодеться. В квартире Маяковских смолят канат, нужный для побега.

Побег отлично удается. Когда полиция замечает переброшенный через стену Новинской тюрьмы еще качающийся канат, тринадцать политических каторжанок уже бежали. Вся полиция поднята на йоги, но ей ничего не известно об участии в этом деле семьи Маяковских. Случайно Володю арестовывают на квартире одного из организаторов побега. Он ведет себя вызывающе, держится независимо. Пристав, арестовавший его, составляет протокол, а Маяковский невозмутимо диктует ему:

«…Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной *части,* отчего я, пристав Мещанской *части,* нахожу, что Владимир Маяковский виноват *отчасти,* а посему надо разорвать его на *част и…»*

В очень приподнятом настроении, бурно остря, издеваясь над полицейскими, оглушая их своим басом и шутками, неугомонный арестант препровождается в Басманный полицейский дом. Там он продолжает бушевать. Начальство не знает, как от него избавиться. Маяковского переводят в Мясницкий участок. Но он не сдается, держится со спокойствием, которое возмущает надзирателей. Громогласно отстаивает свои права, скандалит, дерзит, отказывается выполнять приказы тюремного начальства. Он занимается гимнастикой, дает приятелям сеансы французской борьбы и легко кладет всех каждый раз на лопатки, несмотря на то, что куда моложе партнеров. Он не расстается с альбомом и карандашом, делая летучие наброски.

Политические заключенные выбирают его своим старостой. Маяковский выполняет общественные обязанности очень рьяно. Он устанавливает связь с волей, разузнает, кто и как ведет себя

на допросах. Он по-хозяйски следит за варкой пищи для арестованных. Всячески допекает тюремную администрацию. Его крепнущий голос гулко раскатывается по коридору тюрьмы. Арестант требует неслыханных вольностей. Он продолжает заниматься живописью, добивается для товарища разрешения позировать в присутствии надзирателя. Товарищ цитирует ему строфу модного в то время поэта Бальмонта:

Но в расцвете не забудьте,
Что и смерть и жизнь прекрасны
И что царственно величье холодящее могил.

– Да ведь это же тухлятина! Гадость какая!: – возмущенно на всю камеру кричит Маяковский.

Но тут в защиту Бальмонта выступает надзиратель, так как Маяковский начинает говорить уже не о поэзии, а о вещах, спорить о коих в тюрьме строго-настрого запрещено.

16 августа Маяковского выпускают из камеры к умывальному крану. Он прохаживается по коридору, не слушая дежурного помощника смотрителя, который ходит вслед за ним и просит уйти в камеру, а не гулять по коридору.

Маяковский не подчиняется. Вызывают часового с винтовкой. Тогда Маяковский басом, который слышен во всех углах тюрьмы, возглашает:

– Товарищи! Старосту холуй гонит в камеру! Политические начинают стучать в двери своих камер, шумно поддерживая своего старосту.

Замученный Маяковским смотритель написал секретную жалобу в Охранное отделение, и Маяковский за буйство и возмущение был переведен в пересыльную тюрьму, в одиночную камеру. На общей прогулке арестованные шумно провожают своего неугомонного старосту, художника и непобедимого чемпиона французской борьбы.

18 августа 1909 года Маяковского запирают в одиночку № 103 Бутырской тюрьмы. Шесть шагов по диагонали, табуретка, откидной столик, койка.

И он один.

Шесть месяцев сидит он в Бутырках.

«Важнейшее для меня время», – вспоминает он об этом впоследствии.

Он много читает. «После трех лет теории и практики – бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо… Попробовал

сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, *так же про другое* – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям – при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой».

Так в шестимесячном молчании одиночки, готовый все на свете отдать «за стенного за желтого зайца», скучая по отнятому солнцу, влюбляясь в простую вывеску бюро похоронных процессий, которую можно разглядеть из окна 103-й камеры, проходит в Бутырской тюрьме свой литературный университет поэт Владимир Маяковский.

Возраст опять спас его. В ночь на 9 января 1910 года надзиратель кричит в глазок 103-й камеры:

– Маяковский, с вещами по городу!

Он подымается, уверенный, что сейчас отправят в ссылку. Но ему сообщают, что он свободен. Тетрадку с его первыми стихами, найдя их подозрительными, начальство оставляет у себя.

Выйдя из тюрьмы, нарадовавшись первым дням свободы, он начинает задумываться: что же делать дальше?

И решает: «Нужно учиться!»

Подполье, аресты, тюрьмы то и дело прерывали учение. Из гимназии он уже давно выбыл; ушел, не проучившись года, из художественного Строгановского училища. Теперь, выйдя из тюрьмы, он остро чувствует, что ему не хватает образования:

«Я неуч. Я должен пройти серьезную школу…»

Стих родится и крепчает

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.

«Со стихами опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского». Вместе с какими-то дамочками он пишет «серебряненькие сервизики». Проходит почти год, и Маяковский вдруг понимает, что учился рукоделию. Ои отправляется к художнику Келину, реалисту. «Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся».

Осенью 1911 года, хорошо подготовившись в мастерской Келина, Маяковский поступает в школу живописи, ваяния и зодчества. Это было единственное место, где не спрашивали документа о благонадежности. Он учится усердно, с жаром. Целый год сидит «на голове» – всматривается в анатомию человеческого лица, изучает формы черепа. Но, беспокойный и наблюдательный, он начинает приглядываться к художественным течениям в школе, интересоваться смелой работой художников-новаторов. Его уже сердит, что «подражателей лелеют, самостоятельных гонят».

В ноябре внезапно от паралича сердца умирает один из крупнейших художников России – В. А. Серов. Бесконечная процессия тянется за гробом художника. Идут художники, литераторы, артисты, студенты. Над раскрытой могилой Серова склоняются головы – знаменитые художники Васнецов, Переплетчиков, Первухин, Пастернак, Бакшеев. Пришли проститься с любимым художником известнейшие артисты – Станиславский, Сумбатов-Южин, Немирович-Данченко, поэт Валерий Брюсов, дирижер Кусевицкий. Здесь же и Келин.

И вот выступает над гробом Серова очень высокий худой юноша – представитель фигурного класса училища живописи. Далеко разносится над кладбищем его срывающийся от волнения, но необыкновенно звучный голос. Рослый, угловатый, с резко очерченным ртом и огромными, немного мрачными глазами, он призывает следовать заветам ушедшего мастера; он напоминает всем, кто пришел отдать последний долг Серову, каким смелым в своих исканиях был покойный. Он зовет молодых искать новое, бесстрашно идти вперед, но не повторять того, что уже сделано учителем. Эти несколько необычные для кладбищенской тишины, зовущие к жизни и дерзанию слова вызывают смущение и

недовольство у присутствующих. Фамилия воспитанника училища живописи, выступающего от имени школы пад могилой Серова, никому еще ничего не говорит.

После похорон учитель П. И. Келин подходит к своему питомцу и говорит:

– Я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову.

– Подождите, Петр Иванович, мы вас еще не так похороним, – отвечает Маяковский, чтобы за шуткой скрыть свое состояние и в то же время добродушно подчеркнуть свою независимость.

Вскоре в училище появляется мешковатый короткопалый человек в сюртуке. Он ходит напевая, заносчиво посматривая на всех через старинную лорнетку одним глазом – другой у него вставной.

Вид у него независимый и наглый. Маяковский начинает задирать его. Они сталкиваются в коридоре училища.

– Что вы выпятили на меня ваши рачьи глазки? – сердится Маяковский.– Я вот вывинчу из вас ваше вставное буркало!

– Не буркало, а бурлюкало, – невозмутимо отвечает тот.– Научитесь сперва говорить, молодой человек!

Тут едва не происходит драка. Но все кончается благополучно. Они знакомятся. Мешковатый человек с лорнеткой оказывается Давидом Бурлюком, поэтом, художником, мечтающим о новом искусстве. Вскоре они сходятся, убежав вместе со скучного концерта. Они договариваются: у Давида Бурлюка – «гнев обогнавшего современников мастера», у Маяковского – «пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья».

Бурлюку нравится его новый приятель, большеголовый, болыпелапый. «Великолепный молодой конь!» – восхищается он.

Ночью они идут как-то вдвоем по Сретенскому бульвару, и вдруг Маяковский, застенчиво глядя в сторону, просит Бурлюка послушать стихи, которые «накропал» один его, Маяковского, знакомый. И он читает. Бурлю к останавливается и внимательно, задрав голову, смотрит на Маяковского.

– Да это же вы сами написали! – рявкает он на весь Сретенский бульвар.– Да вы же ж гениальный поэт!

И оба они долго стоят пораженные. Неизвестно, кто из них поражен больше: то ли Маяковский, услышавший такую грандиозную оценку своего стихотворного опыта, то ли Бурлюк, не подозревавший, какая взрывчатая сила таится, еще спертая, в этом странном, неуклюжем на вид, немного угрюмом юноше. А утром Бурлюк, знакомя Маяковского с кем-то, уже баспт:

– Не знаете? Мой гениальный друг! Знаменитый поэт

Маяковский.

Маяковский смущенно толкает его сзади, но Бурлюк непреклонен. Отходя с Маяковским, он говорит:

– Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение.

И Маяковский, весь уйдя в стихи, неожиданно для себя став поэтом, пишет:

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Здесь сказывается живопись Маяковского. Художник орудует строками, как кистью. Ему хочется перевести на язык стиха то, что видит художник, прищурив глаза. Ночь уже отбросила скомканные багровые краски заката, смяла белый дневной свет. «В зеленом», в городской зелени, вспыхивают огни фонарей, рассыпающиеся, как монеты. В черных окнах зажигаются огни, и стекла становятся похожими на желтые карты.

Так словами-красками рисует Маяковский картину ночного города. Это один из первых опытов поэта. Маяковский не останавливается на нем. Он ищет новых средств стиха для того, чтобы рассказать людям о своих ощущениях и мыслях. Его начинает интересовать не только внешность, поверхность и цвет вещей, но и самый смысл их, душа предметов, их содержание и место в мире. Так же необычно, как он подмечал раньше формы, краски и линии, он начинает схватывать голос, звучание, движение жизни. В нем обнаруживается замечательное умение по-своему неожиданно расшифровывать впечатление, которое оставляет городской пейзаж, толпа, бульвар, простые, будничные вещи. Совсем различного смысла явления и вещи, вдруг сойдясь в один огромный образ, открывают в его стихах свое, никем ранее не наблюдаемое родство. «На блюде студня» он дает читателю ощутить «косые скулы океана». Он может сыграть ноктюрн «на флейте водосточных труб». В скрипке, которую осмеяли барабаны и тромбоны, он видит родственную ему израненную душу человека, которую не понимают окружающие-люди грубого города, каменного становища богатеев, лавочников, пошляков.

Стихи эти напряжены так, что, кажется, чувствуешь судорогу каждой строки.

Бурлюк выдает ему ежедневно пятьдесят копеек, чтобы Маяковский мог писать не голодая. Маяковский берет деньги и шутит:

– Итак, значит, вы вкладываете в игру свои деньги.

В ту пору, после поражения первой революции, некоторые писатели и поэты поддались настроениям безнадежности и упадка. В литературе стали расцветать всякие дурные, безвкусные, а часто и просто реакционные и мистические течения. Произведения такой гнилостной литературы были чужды народу, далеки от его интересов, но утоляли «томления» балующихся искусством хозяев некоторых буржуазных литературных салонов. Им на потребу и писались всякие «грезо-фарсы» об изысканных роскошествах и усладах утонченного общества, бесконечные и заунывные элегии, меланхолическо-дремотные стихи, которые можно было не без приятности послушать, отрыгивая сытный обед. Расплодились поэмы и романы с загробными духами, полные невнятного бормотанья, завлекательных привидений и прочей чертовщины. В таких салонах Максима Горького, крупнейшего из писателей, к которому прислушивались все передовые люди, считали босяком, грубияном, вульгарным и тенденциозным декламатором. Зато там были в большом почете сладкозвучный Бальмонт, развязно-шикарный Игорь Северянин и мракобес Мережковский. И вот как бы в противовес этим унылым или барственным звучаниям раздались задорные, крикливые голоса русских футуристов.

Футуризм родился на Западе, в Италии. Это было модное течение в буржуазном искусстве Западной Европы. Оно было типичным для определенного периода в развитии капитализма. Буржуазия, оснастив себя новейшими усовершенствованными машинами, завладев всеми материальными достижениями культуры, была упоена своим машинным, паровым и электрическим могуществом. Надменно озирая прошлое, она требовала теперь воспевания в искусстве своей алчной, воинствующей мощи – сегодняшней и завтрашней. Футуристы, называвшие себя так потому, что они якобы стремились приблизить искусство к будущему («футурум» – будущее), воспевали большие города, многоэтажные небоскребы – внешне бросающиеся в глаза черты нового буржуазного века. Они видели красоту в стремительном мчании автомобиля, в полете аэроплана, слышали музыку в мощном ударе парового молота.

Футуристы не интересовались, какую роль в жизни трудовых людей играют все эти достижения техники, которой владеют капиталисты. Футуристы не видели во всех этих машинах и новейших, хотя бы и самых блестящих достижениях техники двадцатого века средств жесточайшего порабощения трудящихся, народа для личной хищнической наживы кучки преуспевающих тунеядцев.

Их, футуристов, влекла лишь формальная сторона дела, манило техническое новаторство в искусстве. Изощряясь в поисках необыкновенных форм, соответствующих, по их мнению, темпам, ритмам и звучаниям современной жизни, футуристы меньше всего заботились о содержании. Да они о нем частенько попросту и забывали, полагая, что смысл для произведения «чистого искусства» совсем не обязателен. Беспорядочные, лишенные всякого смыслового значения словосочетания, нагромождения букв и слогов, вырванных из отдельных слов и произвольно соединенных, фантастические сочетания геометрических форм, по мнению футуристов, должны были давать читателю и зрителю-современнику высшее эстетическое наслаждение.

Они объясняли свою манеру тем, что современность, обладая мощными машинами, оснащенная высокой новейшей техникой, не может быть выражена стихами, написанными в обычном строе, или красками, которые употребляли художники в прошлом. Футуристы считали, что предметом и средствами искусства могут служить не только реальные изображения вещей, но и просто лишенные какого-нибудь логического смысла пятна, по-разному обработанные поверхности, куски жести, обоев, резины и дерева, осколки стекла, хвосты сушеной воблы, вклеенные в холст.

Разрывая недра языка, обнажая корни слов, стремясь уйти от узаконенной литературной речи, некоторые поэты-футуристы стали заполнять строки своих стихов ими же придуманными и лишенными обычного смысла «самовитыми» словами из так называемого «заумного языка».

Если в первых своих опытах и широковещательных манифестах западноевропейские футуристы еще бряцали иногда свободолюбивыми фразами, то впоследствии они окончательно и с бесстыдной откровенностью перешли на службу к самому оголтелому и звериному империализму. Как известно, спустя десяток-другой лет они отлично сговорились с фашистами. И недаром ведь главарь итальянских футуристов Маринети стал присяжным воспевателем Муссолини. А гнусная человеконенавистническая книжка Гитлера «Моя борьба», в которой он изложил свою чудовищную программу порабощения человечества, по стилю и претенциозным выражениям ученически скопировала ранние футуристские манифесты.

Российские футуристы, или, как величал их «самовитый» поэт Хлебников, «будетляне», с самого начала резко отличались от итальянских. Они не могли примириться с теми лакейскими восторгами, которые футуристы Западной Европы расточали по адресу хозяев новой, капиталистической техники, порабощавшей

людей. Недаром, когда Маринети посетил Россию, он встретил самый враждебный прием со стороны тех, кого он высокомерно считал своими последователями. Русские футуристы освистали Маринети и публично отмежевались от расфранченного, нагличающего трубадура, посланца западноевропейских заводчиков-милитаристов. Русских футуристов связывало с западными лишь стремление к поискам новой формы, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым нарождающимися новыми явлениями жизни, ее будущим. Поэтому они и называли себя будетлянами, то есть людьми будущего.

Молодому Маяковскому пришлпсь по душе эти призывы будетлян-футуристов, заклинавших подчинить искусство велениям будущего, которое они, впрочем, не очень-то ясно себе представляли.

Велемира Хлебникова, поэта чрезвычайно одаренного, но безнадежно плутавшего в дебрях словотворчества, Маяковский в ту пору считал «Колумбом новых поэтических материков». Вместе с Хлебниковым, с Давидом Бурлюком и заумным «иезуитом слова» Алексеем Крученых Маяковский подписал манифест русских футуристов. Он назывался «Пощечина общественному вкусу». В нем поэты-футуристы заявляли:

«Только мы лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно…»

Сборник, в котором напечатан этот манифест и стихи Маяковского, назывался также «Пощечина общественному вкусу». Он был напечатан в обложке чуть ли не из дерюги и на самой грубой бумаге – нарочно, чтобы досадить блюстителям изящного.

Но хотя Маяковский и примкнул к футуристам, он находит свой собственный путь. Это путь поэта-борца, поэта-революционера. Его надолго связывает с футуристами ненависть к прошлому, яростное неприятие мещанских красот, в которых замыкается обыватель. Ему близка мечта о будущем человечества, прекрасном и свободном. Но его занимают не внешние приемы футуристов, ему дорог самый протест против застоя в искусстве и в жизни, его увлекает борьба с воинствующим старьем, ему отвратительно литературное обслуживание эстетствующих содержателей буржуазного искусства.

И он ищет язык, который был бы понятен народу, он выбирает слова, которые достаточно сильны, чтобы прозвучать на площади. Все более ненавистными становятся ему чинные дома и чопорные мещане, млеющие от лирических романсов в уютных литературных салонах. Он готов взорвать их, он дразнит их своими резкими, оскорбительными строками. Им в лицо бросает

он свое вызывающее, язвительное «нате!» – он, «бесценных слов транжир и мот», «граненых строчек босой алмазник».

Впоследствии Маяковский со всей резкостью и свойственной ему решительной прямотой говорил о причинах, по которым футуризм быстро изжил себя в России. Во время путешествия по Америке он в одном из своих выступлений сказал: «Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль. Футуризм и советское строительство не могут идти рядом».

«Отныне, – говорит он, – я против футуризма, отныне я буду бороться с ним».

Так определил свое отношение к футуризму Маяковский в октябре 1925 года.

Но, конечно, в 1913 году он считает себя еще убежденным и воинствующим футуристом. Ни один журнал, ни одно издательство не печатают его. Но Маяковский не сдается и вместе со своими друзьями выступает на диспутах, громя старое искусство. Директор училища предлагает ему прекратить эти выступления. Маяковский отказывается. Совет училища изгоняет из своих стен Маяковского и Бурлюка. Вместе с Бурлюком и Василием Каменским, одним из первых русских авиаторов и поэтом-футуристом, Маяковский отправляется в путешествие по России. Они выступают на литературных вечерах, шарашат обывателя своими бунтарскими стихами, пугающими полицеймейстеров и любителей изящной словесности. Чтобы хлестче ударить по салонным вкусам литературных чистоплюев, чтобы наверняка разъярить обывателя, Маяковский и его товарищи пускаются на смешное мальчишеское озорство.

Маяковский шьет себе для выступлений знаменитую желтую кофту. Происхождение этого желтого распашона, столько лет вызывавшего яростное возмущение у противников поэта, на самом деле очень буднично. У Маяковского нет подходящего костюма для выступлений и нет денег. Однажды он берет у сестры кусок желтой ленты и повязывает ее как галстук. Это производит скандальный фурор.

– Очевидно, – шутит Маяковский, – увеличишь галстук, увеличится и фурор.

И он идет на вызывающую хитрость:

– Сделаю галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Мама, Александра Алексеевна, сама сшила желтую кофту для своего неукротимого сына.

И вот они ездят по России: Маяковский, Каменский, Бурлюк – Владим Владимыч, Василь Васильич, Давид Давидыч. Но даже это невинное и совершенно случайное совпадение – «звуковые

повторы» в именах и отчествах поэтов – кажется скандальным, нарочитым, заставляет настораживаться губернаторов и полицейских приставов. Вызывая вопли негодования, шиканье «чистой» публики, доводя чуть ли не до разрыва сердца и апоплексических ударов блюстителей тишины, порядка и красоты, наши друзья тщательно и долго распивают чай на сцене, стакан за стаканом, не обращая внимания на публику. Вместо председательского колокольчика в руках у одного из них огромный пожарный колокол, которым он время от времени зычно благовестит. А над ними висит вверх ногами подтянутый к колосникам рояль.

В партере свистят, на галерке аплодируют.

– Почему вы одеты в желтую кофту? – кричат Маяковскому.

Он отвечает спокойно:

– Чтобы не походить на вас.

Затем он говорит о новой красоте:

– Красота – это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочком, а это современный город, город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи… Красота – это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещан и кретинов.

– А вы кого изображаете в микроскопах? – обиженно кричат из зала.

– Мы ни в какой микроскоп не влазим, – ни секунды не задумываясь, отвечает Маяковский.

– А зачем вы рояль повесили? – в десятый раз допытываются из публики.

– Потерпите до конца, узнаете.

И лишь когда программа вечера исчерпана, Маяковский объясняет сгорающим от любопытства слушателям:

– Ну, а что касается рояля, то мы повесили его так, чтобы заинтересовать вас и заставить всех высидеть до конца нашей лекции.

Но за этой дразнящей, нарочито грубой, вызывающей на скандал дерзостью в Маяковском зреет уже с трудом сдерживаемая ненависть ко всему старому миру, к рабскому существованию человека, к сытому спокойствию ого хозяев. Уже не восхищавший его «город-дирижер», а ненавистный город-мучитель, город-спрут, в теснинах которого задыхается жизнь трудового человека, упоминается теперь то и дело в публичных выступлениях поэта.

В одной из газет того времени, сообщавшей о выступлении Маяковского, говорится: «Город представляется г. Маяковскому

огромным чудовищем. Обращает человека только в рабочее животное, в простую деталь автоматически работающей машины капитализма, он низводит его интеллектуальные запросы и потребности к примитиву первобытного дикаря».

В выступлениях поэта начинают звучать уже такие нотки, что полиция настораживается. В Киеве цензура запретила газете «Киевская мысль» напечатать статью о футуристах. На следующий день после выступления газета дала лишь краткую заметку:

«Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов: Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали: генерал-губернатор, обер-полицеймейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 15 околоточных надзирателей, 60 городовых внутри театра и 50 конных возле театра».

– Даже лошадей впутали в наше дело! – ругается Маяковский.

Начинается война, большая война 1914 года. Поэты пишут патриотические стишки. А Маяковский видит прежде всего в войне кровавую бессмысленную свалку, в которую ринулись народы. В нем растет ужас перед страшной, идущей наперекор рассудку несправедливостью, когда все живое, человеческое забивается насмерть чугунным обухом войны.

Может быть, Маяковский не совсем ясно еще понимает, чьи интересы защищают воюющие армии, но всем своим огромным сердцем восстает он против войны.

«Война отвратительна. Тыл еще отвратительнее. Чтобы сказать о войне, надо ее видеть». И Маяковский идет записываться добровольцем. Его не берут: нет уверенности в его благонадежности.

С каждым днем растет в нем «отвращение и ненависть к войне». Он уезжает в Финляндию, в Куоккалу. Там он работает над большой новой поэмой. Там живет Репин и другие известные деятели театра, литературы, искусства.

Маяковский, привыкший к свисту, которым встречали его в литературных кружках, держится и здесь настороженно, независимо. Когда критик Чуковский, писавший о футуристах, при встрече с Маяковским стал одобрительно говорить о его стихах, Владимир Владимирович показал на какого-то старичка в углу зала и сказал:

– Вот, пожалуйста, скажите все это вон тому дяде… Я ухаживаю за его дочкой, а он не верит, что я гений…

Денег у Маяковского мало. Он недоедает, иногда обедает у знакомых. Самолюбивый, настороженный, больше всего ценя в себе независимость, он присматривается подозрительно: не собираются ли прикармливать его ради необыкновенности? И поэтому, когда знаменитый художник Репин, которому

понравилась внешность Маяковского, собирается писать с него портрет, Владимир Владимирович говорит угрюмо:

– Дадите двадцать пять рублей, буду позировать…

Репин смеется и выдает Маяковскому деньги за право писать с него портрет, а Маяковский на другой день является позировать, нарочно обрившись наголо.

Он не терпит, когда им любуются, он не просится ни на какие портреты.

И желтая кофта – это не только жупел, не только дразнилка, это и защитные доспехи. «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана».

Известный в то время писатель-юморист Аркадий Аверченко предоставляет Маяковскому возможность сотрудничать в журнале «Новый Сатирикон». Аверченко сам не очень хорошо понимает стихи Маяковского, но ему нравится, что это что-то новое. Он предполагает, что эти стихи озадачат и привлекут публику.

– Ничего, у нас журнал юмористический, – говорит он, замечая, очевидно, в стихах Маяковского лишь то, что показалось ему необычным до смешного, не видя, что у поэта «на кресте из смеха распят замученный крик».

Маяковский печатает в «Новом Сатириконе» свой известный «Гимн судье» – великолепный образец сатирической поэзии. Он остроумно обходит рогатки цензуры, высмеивает царские законы, полицию, строй, душащий мысли и чувства людей.

И хотя он пишет будто бы о далекой стране Перу, жалеет несчастных перуанцев, однако читатель понимает, в кого направлено острие сатирического пера. С каждым стихом, напечатанным в журнале, он становится откровеннее и резче: вот вам «мое к этому отношение!» Так называется одно его стихотворение. Тут автор уже не скрывает, что у него чешутся кулаки: так и хочется ударить по жирной роже капиталиста.

В ту пору Маяковский переживает свою первую большую любовь. Развязка ее неудачна. Маяковский весь еще «боль и ушиб». Но через неудачу своей любви он видит опять и прежде всего великий непорядок в жизни людей, которым выпала на долю любовь без радостей и утешения, жизнь без тепла и счастья. Он уже целый год пишет большую поэму «Тринадцатый апостол». Цензура испугалась этого названия и запретила его. Тогда Маяковский, взяв одну из строк поэмы в заголовок, назвал ее «Облако в штанах».

«Облако в штанах» – одно из лучших творений мировой поэзии. Это произведение гневное, тревожащее, небывалое по своей образной силе.

Маяковский называет себя «крикогубым Заратустрой». Он

говорит, как пророк, от имени людей, задавленных городом, каторгой тупого, бессмысленного труда. Он отвергает любовь рабов, любовь, опозоренную и обескровленную в мире насилия и несправедливости. Он высмеивает сладеньких, чирикающих поэтов, которые «выкипячивают», пиликая, рифмы, в то время как корчащейся улице «нечем кричать и разговаривать». Остриями раскаленных строк, как штыками, штурмует он весь старый строй жизни. В гигантском размахе поднимает он руку на дряхлого бога, бога мещан и обывателей…

«Долой вашу любовь! Долой ваше искусство! Долой ваш строй! Долой вашу религию!»

Громко и проникновенно говорит Маяковский от имени тех, кто держит в своей пятерне «миров приводные ремни». Огромная, готовая разорвать сердечную сумку любовь к человеку – в каждой строке этой неистовой поэмы. Ни одной равнодушной строки, ни одного спокойно произнесенного слова. Тема личной любви стала темой широкого общественного захвата. Стих Маяковского оказался достаточно могучим, чтобы передать движение миров, уловить тончайшие движения сердца и глухую тишину Вселенной. В поэме этой, полной мысли, огня, презрения, боли и жадного предвидения будущего, Маяковский торжественно пророчествует:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Нетерпеливое предвидение поэта на год укорачивает срок ожидания. Ему кажется, что уже в 1916 году грянет революция.

Гениальная поэма будоражит умы. «Вся поэзия казалась никчемной – писали не так и не про то, а тут вдруг так и про то», – передает впечатление от поэмы Л. Ю. Брик, подруга Маяковского, которой он посвятил свое «Облако в штанах».

Летом 1915 года Маяковский навещает Горького в Финляндии, в Мустамяках. Маяковский читает Алексею Максимовичу «Облако в штанах». Горькому нравится:

– Вот это настоящий разговор с богом! Давно господу так здорово не влетало.

Потом восхищенный Горький, озабоченно присмотревшись к Маяковскому, наставительно говорит ему:

– Вот что… Вышли вы на заре и сразу громким голосом заговорили. А день-то велик!.. Хватит ли вас?

Но никто не хочет печатать «Облако». Один из ближайших

друзей Маяковского, О. М. Брик, сам берется на свой страх и риск издать поэму. Раздобывают деньги. Принцип оформления строжайший: ничего лишнего. Упраздняются даже знаки препинания.

«Облако вышло перистое, цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек», – острил Маяковский.

Вместо последней части о боге, запрещенной цензурой, шли действительно сплошные точки.

«Я сначала удивился – куда же девались знаки препинания? – шутил один остроумный читатель.– Но потом понял: они, оказывается, все собраны в конце книги».

В это время Маяковского «забрили» в солдаты. В одну ночь научившись у какого-то инженера чертить автомобили, он «притворился чертежником». Его берут в автошколу. Все-таки он находит время для своей работы и пишет «Войну и мир». Потом заканчивает поэму «Человек».

В 1916 году Алексей Максимович Горький предложил Маяковскому печататься у него в журнале «Летопись». Горький почувствовал в Маяковском большого, талантливого поэта. В издательстве «Парус», где Горький был главным редактором, впоследствии выходит первый сборник стихов Маяковского – «Простое, как мычание».

Критика обрушивается на эту книгу. Над Маяковским издеваются. Злобно, возмущенно нападают и на Горького за то, что он позволил напечатать такого «грубого» поэта.

В дни Февральской революции Маяковский идет к Государственной думе. «Влез в кабинет Родзянки, осмотрел Милюкова». Осмотр этих временных правителей России, очевидно, не удовлетворяет Маяковского. Он чувствует, что это еще не настоящее, что придет еще та великая и загаданная им революция, предчувствие которой давно уже не покидает поэта.

Маяковский неодобрительно приглядывается к событиям. Временное правительство продолжает войну. И Маяковский выступает со своим знаменитым стихотворением «К ответу»: не свобода, не бог, а тот же капиталистический рубль – вот во имя чего ведется война!

Раздраженной бранью отвечают Маяковскому газеты.

Но он уже замечает, в какую сторону поглядывают члены Временного правительства:

Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили

радость февральскую.
Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.

В Петрограде и в Москве, в Политехническом музее, Маяковский выступает с лекциями «Большевики искусства». Молодежь шумно приветствует поэта – борца за новое, революционное искусство.

Страна беспокойна. На всех углах и перекрестках Петрограда шумят митинги.

Однажды где-то на Невском проспекте некая дама, забравшись на возвышение, вопит, что вернувшийся из-за границы Ленин – немецкий шпион, что большевики хотят предать Россию, что надо воевать, воевать до победного конца.

Раскачиваются перья на шляпе ораторши, молча и угрюмо стоят вокруг нее люди.

Вдруг сквозь толпу проталкивается, раздвигая широким плечом впереди стоящих, очень высокий парень. И глаза его с темными, резко выделяющимися зрачками не предвещают ничего доброго.

– А ну, мадам, отдайте кошелек!! – неожиданно говорит он.

– Какой кошелек! Вы с ума сошли? – возмущается прерванная на полуслове ораторша.

– Нечего, нечего, мадам! Надела шляпу – и глаза отводишь. Товарищи, она у меня кошелек украла!

– Что за безобразие! Как вы смеете? – вопит дама уже в смятении.– Я вас никогда в глаза не видела! Какие у вас доказательства?

– Вот и большевиков вы никогда в глаза не видели, – басит высокий, – и у вас никаких доказательств нет, что большевики страну предают.

Хохот, свистки, аплодисменты. Дама спасается бегством, а высокий парень, глядя поверх голов, басом, изобличающим в нем Маяковского, кричит вдогонку:

– Мадам, вернувшись домой, не срывайте злобу на своей кухарке!..

Каждое событие этих дней отразится потом в стихах, врастет в строки поэтохроник, станет частью таких произведений, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

Но вот приходит Октябрь, и наступает день, когда мир, под

который Маяковский столько раз подкладывал динамит своих стихов, наконец взрывается большевиками.

Берут Зимний дворец. Восставшие рабочие, революционные моряки и красногвардейцы идут на последний штурм, распевая задорную и сердитую частушку:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй.
День твой последний приходит, буржуй…

Песенку эту незадолго до того сочинил Владимир Маяковский.

«Моя революция»

Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знам!

Для Маяковского нет вопроса – принять или не принять. «Моя революция». Он идет в Смольный, работает.

30 ноября на большое собрание приходят деятели искусства. Луначарский обращается к ним с предложением: пусть каждый поможет своей работой Советской власти. Многие отказываются. Некоторые покидают собрание. Крики и споры. Тогда встает Маяковский и басом своим покрывает шум:

– Предлагаю приветствовать новую власть и войти с нею в контакт!

«Дела по горло, рукав по локти», он принимается за работу, организует газету по искусству – «Искусство коммуны». Его зовут к балтийцам. Он читает морякам специально написанный для них, ныне знаменитый «Левый марш» – одно из самых боевых произведений революционной поэзии. Этот марш заучивают наизусть миллионы людей.

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Маяковский приезжает в Москву. Ночью он приходит в кафе поэтов в Настасьинском переулке. Какие-то подозрительные личности из анархистов, увешанные бомбами и револьверами, затевают скандал. Но вот, перемахнув через столик, одним прыжком перенося себя на эстраду, встает над головами скандалящих фигура Маяковского, и голос его, непререкаемый и расплющивающий, разом кончает со всеми возникшими сварами:

– Читаю революцию!

В голове у него уже гудят будущие реплики из «Мистерии-буфф».

Но пока он пишет сценарии для кино и сам снимается в картинах: «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся» (по «Мартину Идену» Джека Лондона), «Закованная фильмой». Даже здесь, на работе, случайной для него, Маяковский как киноактер находит совсем новые приемы для игры. Движения его на экране убедительны, просты и свободны. Он не вперяет ни в кого демонических взоров, как это делали в то время знаменитые киногерои. Он ходит по мерцающему полотну упруго и легко, как в жизни. Мимика его скупа, размеренна. Он не суетится. Маяковский угадал стиль современных нам кинокартин много лет назад.

Осенью 1918 года он читает своим друзьям только что написанную большую драматическую поэму, пьесу-обозрение. Она рассказывает о борьбе рабочего класса с капиталистами, о победе революции, о гибели старого мира Вещь эта называется «Мистерия-буфф». Форма ее напоминает старинные средневековые представления на религиозные темы – мистерии. Но в «Мистерии-буфф» приемы церковного представления подчинены требованиям буффонады – веселого сатирического балаганного представления.

«Мистерия-буфф» возбуждает споры и толки своей смелостью, изобретательной выдумкой, вселенским охватом описываемых событий, озорством, отточенностью реплик.

Революция изображается в ней в виде потопа, от которого спасаются буржуи. Буржуи воздвигают ковчег. В ковчеге плывут семь пар «чистых» – буржуи. С ними семь пар «нечистых» – это рабочие, которых буржуи уговорили. В ковчеге разыгрываются бурные события. «Чистые» стремятся захватить власть над ковчегом, «нечистые» поднимают бунт. Буржуев сбрасывают в воду. По совету человека-агитатора рабочие отправляются на поиски обетованной земли. Земля эта – Советская Россия.

Старые актеры с негодованием отказываются играть в этой кощунственной, богохульной пьесе. Даже слушая ее, они втихомолку крестятся, повторяя: «Свят, свят…»

Долго не могут найти театра, который бы поставил «Мистерию». Наконец для нее предоставляют временно театр Музыкальной драмы – здание консерватории. За день до спектакля по Ленинграду расклеиваются странные афиши: «7-го ноября в ознаменование первой годовщины Октябрьской революции будет поставлена пьеса Маяковского «Мистерия-буфф». Все желающие играть в этой пьесе благоволят явиться в

помещение Тенишевского училища… Там им будет произведен отбор, розданы роли».

Желающие сыграть в «Мистерии-буфф» спешат к Тенишевскому училищу. Идут рабочие, моряки, идут малограмотные люди, готовые с чужих слов выучить наизусть текст ролей и сыграть в революционном спектакле. Раздаются роли, проводятся репетиции. Спектакль назначен на 7 ноября.

Афиши недопечатаны. Маяковский сам по наведенному контуру раскрашивает афиши от руки. Горничная Тоня ходит по городу и обойными гвоздочками приколачивает срываемые ветром афиши:

«Коммунальный театр Музыкальной драмы. Седьмого – Восьмого ноября н/с мы, поэты, художники, режиссеры и актеры, празднуем день годовщины Октябрьской революции революционным спектаклем. Нами будет дана «Мистерия-буфф», героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Первая картина: Белые и Верные бегут от красного потопа. Вторая карт.: Ковчег. Чистые подсовывают нечистым царя и республику. Сами увидите, что из этого получается. Третья карт.: Ад, в котором рабочие самого Вельзевула к чертям послали. Четвертая карт.: Рай. Крупный разговор батрака с Мафусаилом. Пятая карт.: Коммуна; солнечный праздник вещей и рабочих».

«Человека просто» играет сам Маяковский.

Кроме того, он режиссер, руководит актерами, учит их, как надо читать стихи, дерется за каждую мелочь, раздобывает гвозди.

А в день спектакля куда-то сбежали три исполнителя, и автору приходится играть еще две роли в своей пьесе: Мафусаила и одного из чертей.

Некоторые считают пьесу «самой веселой вещью в русской литературе после «Горя от ума». Рабочие очень интересуются пьесой Маяковского, но поборники классического театра быстро снимают «Мистерию-буфф» с репертуара, так как она будто «недоступна пониманию рабочих масс».

Маяковский ездит со своей «Мистерией» и другими вещами по заводам. Его встречают радостно и шумно. Его приветствуют, слушают и понимают.

Весной он переезжает в Москву.

В конце года в печати появляется безыменная, никем не подписанная поэма «150000000». В ней рассказывается о возможном столкновении Советской России с миром капиталистов. Автором этой полуфантастической поэмы является как бы сам советский народ, насчитывавший в то время

полтораста миллионов. «Сто пятьдесят миллионов – мастера этой поэмы имя». Но своеобразный строй и ритм стиха, его энергия и громовые раскаты, пружинистая сила каждой строки позволили читателю быстро разгадать автора поэмы. Все поняли, что ее написал Маяковский.

Страна переживает тяжелые, опасные дни. Республика напрягает все силы, отбиваясь от врагов в сплошном кольце фронтов. Маяковский начинает свою прославленную работу в «Окнах РОСТА». РОСТА – Российское телеграфное агентство.

Осенью 1919 года на Тверской в окне пустующего магазина было вывешено первое «Окно сатиры» – плакат, представляющий собой увеличенную страницу сатирического журнала. Через неделю «Окно» сменилось новым. А через четыре недели в РОСТА является Маяковский и остается там работать. Он работает в РОСТА дни и ночи, работает как поэт и как художник-плакатист.

Стоят типографии, скоропечатни, разрушены литографии. А республике нужны плакаты, лубки, лозунги, карикатуры.

Маяковский вместе с друзьями-художниками заменяет работу остановившихся типографий. Приходится орудовать с телеграфной, с пулеметной быстротой. Работают в огромной нетопленной мастерской РОСТА. Потом добывают печурку-«буржуйку». Дым выедает глаза. Маяковский работает круглые сутки, ложится спать, «подложив под голову не подушку, а простое полено, с тем расчетом, чтобы не проспать и успеть вовремя обвести ресницы разным Юденичам и Деникиным».

Приходят свежие телеграммы. Их дают Маяковскому. Он выбирает самое нужное, намечает темы, пишет текст, раздает работу другим художникам. Сперва делают проекты плакатов, потом режут трафареты. По этим трафаретам покрывают разными красками соответствующие места на заготовленных листах.

Так одновременно рисуется множество однотипных плакатов. Под каждым рисунком – стихотворная подпись, злободневный стих – строфа, агитирующая, призывающая, высмеивающая, разящая.

Маяковский придумывает эти стихи, сам делает трафареты. Он рисует, красит, сочиняет. И вот свежие плакаты выставляются в «Окнах РОСТА»: на углу Тверской и Брюсовского переулка, в пустой витрине бывшего кондитерского магазина, на углу Кузнецкого и Петровки, на Сретенке, у Сухаревской площади, на Серпуховке, у Страстной.

А у «Окон» уже собралась публика, ожидающая новостей с фронтов гражданской войны, новых плакатов, новых стихов.

Маяковский делает эту работу «не только в полную силу серьезности и уменья». Он старается революционизировать вкус,

подымает уровень плакатного искусства. Он считает, что работа в РОСТА очищает язык «от поэтической шелухи» на темах, не допускающих многословия.

В этих коротких, веселых, звучных и сердитых подписях Маяковский дает пародию и на старые песни («Жил-был король английский, весь в горностаймехах», «Три битых генерала»), и на известную басню («Колчак, Деникин и Юденич буржуя весть на Русь взялись»), и смешную азбуку, и переиначенные поговорки («Нашла коза на камень» – по адресу Юденича, разбившего лоб о неприступность красного Петрограда). Он рисует спекулянта, посаженного в камеру тюрьмы, и подписывается под этим: «В тесноте да не обедал». Изображая Деникина, он под рисунком делает выписку из своей сатирической азбуки:

Деникин было взял Воронеж.
Дяденька, брось, а то уронишь.

Около трех тысяч плакатов сделал за это время Маяковский. Шесть тысяч подписей сочинил он.

Одновременно он работает и над поэмами вроде утопического «Пятого Интернационала». Он пишет агитационные брошюры в стихах, сатирические лубки. К этому призывает и других поэтов: «Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы выволочь республику из грязи».

Он выпускает «приказы по армии искусств», которые предлагает прочесть «по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов».

Он зовет к объединению все литературные силы для помощи революции. Он сам направляет всю гневную мощь своего таланта туда, где требуется слово умного, культурного, честного поэта.

Распадаются кольца фронтов, кончается гражданская война, но Маяковский остается на своем посту, «революцией мобилизованный и призванный».

Молодой советской торговле нужна реклама, и Маяковский пишет великолепные, полные выдумки и игры рекламные плакаты: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Вводятся новые метрические меры длины и веса. Маяковский предлагает выпустить конфеты со стихами, в которых бы объяснялись новые меры.

Он пишет стихи, помогающие стране бороться с разрухой, разгильдяйством.

Поэты-белоручки пытаются высмеять Маяковского, назойливо пристают к нему со своими советами, с опасениями, как бы

Маяковский не разменял поэтическую силу на мелочи, недостойные большого поэта. Но Маяковский продолжает работать изо всех сил, вкладывая в каждое на первый взгляд даже маленькое по теме стихотворение свое сердце, выдумку и мастерство. Он работает с огромной, искренней заинтересованностью в успехе революционного дела.

Маяковский просит печатать его «летучим дождем брошюр». Он хочет проникнуть своим словом в миллионы сердец. Он стремится в газету. Но противники новой революционной литературы, командующие во многих редакциях, говорят о том, что Маяковский непонятен рабочим и крестьянам. Тогдашний редактор «Известий» заявляет, что Маяковский ступит на страницы газеты, только перешагнув через его труп… Неожиданно он уезжает из Москвы в командировку, этот лирически настроенный редактор. Заменяющий его секретарь редакции, большой ценитель Маяковского, решает воспользоваться отсутствием начальника, чтобы напечатать хоть одно стихотворение Маяковского в «Известиях», а там будь что будет… И вот 5 марта 1922 года в «Известиях» впервые появляется стихотворение Маяковского. Это всем ныне известное «Прозаседавшиеся».

Вся Москва хохочет над высмеянными Маяковским бюрократами. Секретарь редакции, видя, какой успех имеет стихотворение, уже без особого страха думает о приезде редактора.

А наутро на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов выступает Владимир Ильич Ленин.

«Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему, – говорит Ленин.– …Давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно…»

Это для Маяковского событие огромной важности. Добрый отзыв вождя пролетарской революции воспринимается поэтом с глубокой радостью. Ведь до этого он лишь понаслышке знает о том, как относится к его работе Владимир Ильич. До Маяковского доходят слухи, очень его огорчающие. Толкуют, что Ленин не понимает и не любит Маяковского.

Действительно, Ленин, считавший футуристов чуждыми новой пролетарской культуре, сначала относился и *к* работе Маяковского с известным недоверием. Воспитанный на

классических стихах, он не одобрял и той ломки поэтической формы, на которую шел Маяковский. К тому же у Ленина создалось превратное впечатление о поэзии Маяковского после неудачного исполнения одного из стихотворений поэта артисткой, вся манера которой была совершенно противопоказана внутреннему смыслу и звучанию стиха Маяковского. Это произошло, когда Ленина однажды позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Владимир Ильич сидел в первом ряду. Артистка декламировала одно из наиболее сложных, подчиненных особой игре словами стихотворений Маяковского «Наш марш». Не очень заботясь о смысле стиха, она старалась изо всех сил подчеркнуть лишь воинственный маршевый ритм:

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

При этом она все наступала и наступала прямо на Ильича… «А он, – как вспоминала впоследствии Н. К. Крупская, – сидел немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул», когда артистку сменил какой-то другой актер.

После окончания концерта Владимир Ильич спросил артистку, отчего она выбрала именно это стихотворение.

– Я не спорю, и подъем, и задор, и призыв, и бодрость – все это передается, – сказал Владимир Ильич, – но все-таки Пушкин мне нравится больше…

В феврале 1921 года Ленин вместе с Надеждой Константиновной посетил Вхутемас. Студенты окружили Ленина, показывали ему свои рисунки, объясняли их смысл, так как некоторые из работ были не очень-то понятны…

А Ленин весело смеялся и сам расспрашивал студентов, что они читают, любят ли Пушкина.

– О, нет! – выпалил кто-то, как вспоминала впоследствии Н. К. Крупская.– Он был ведь буржуй! Мы – Маяковского.

Владимир Ильич улыбнулся и сказал, что, по его мнению, Пушкин лучше.

«После этого, – пишет Надежда Константиновна Крупская, – Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась Вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущая этого

выражения в малопонятных стихах Маяковского».

И, видимо, Ленин все больше и больше «добрел» к Маяковскому. Вряд ли бы иначе он упомянул в своей речи Маяковского рядом с таким классическим писателем, как Гончаров, которого, по свидетельству Н. К. Крупской, он очень ценил и часто перечитывал.

«Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно, – сказал, как уже приведено выше, Ленин, говоря о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся», и тут же добавил: – Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые всё заседают, составляют комиссии, составляют планы – до бесконечности. Был такой тип русской жизни – Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы». И далее Ленин вскоре опять возвращается к стихам Маяковского: «Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки».

Стихов в те годы печаталось чрезвычайно много, и очень знаменательно, что Владимир Ильич Ленин обратил внимание именно на стихи Маяковского, которые и использовал для иллюстрации некоторых положений своей речи.

Маяковский прочно завоевывает себе право голоса в газете. Он печатается в «Известиях». Потом стихи его появляются регулярно в «Комсомольской правде». Острый глаз поэта-газетчика высматривает в быту каждую мелочь, которая может повредить краснофлагому строю. Он по-прежнему хлестко и безжалостно сечет своими строками обывателя, уже успевшего приспособиться к революции.

С неутомимой отзывчивостью откликается Маяковский на каждое событие. Ничто не проходит мимо его зоркого глаза. Он всегда в курсе дел. Ему не надо специально нагнетать в себе интерес к теме, предложенной редакцией. Тема давно уже живет в нем, обрастает материалом и только ждет подходящего повода, чтобы зазвучать в стихах. И, когда ему звонят из редакции, заказывая стихотворение, он говорит: «А у меня это уже наполовину написано».

Его читает теперь вся страна. Люди научились не спотыкаться на его ступенчатых строчках, поняли, что эти строки-ступеньки облегчают правильное чтение вслух. Люди уже замечают, что стихи Маяковского сами удобно ложатся «на голос». Эти стихи хорошо произносить. Они отлично звучат на улицах, на больших гуляньях, на площадях.

И как ни бубнят докучливые противники, как ни пытаются

они доказать, что Маяковский непонятен, что Маяковский не поэт, как ни стараются они отравить своей злобной болтовней существование поэту, Маяковского уже любит советская молодежь, любит, знает, считает своим поэтом. Стихи Маяковского становятся все яснее, доступнее. С еще большей силой и внятностью проступают в них заложенные поэтом мысли.

Но, неукротимо рвущийся вперед, бдительный к себе, неутомимо требовательный, он зорко присматривается и к успеху своему. Не стал ли он уж слишком для всех подходящим, равнодушно удобочитаемым? Не готовят ли ему лавровый венок? Не иступились ли кили у его броненосцев на литературном рейде? Он не хочет, чтобы его, «как цветочек с полян, рвали после служебных тягот». Ему омерзительно успешное существование мещанина, чье мурло «вылезло из-за спины РСФСР». Он пишет стихи «О дряни», о новом обывателе, который пытается опутать революцию липкими нитями своего отстоявшегося быта.

В новой поэме безжалостно спрашивает самого себя:

Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!

Маяковский подвергает себя добровольному заточению.

Два месяца он сидит втиснутый в маленькую комнату на Лубянском проезде; два месяца, проверяя каждое слово, взыскательно меняя строку за строкой, работает он над поэмой «Про это».

Так создается одна из лучших поэм Маяковского, полная тревоги и любви. Он сливает здесь в один мощный поток стиха глубоко личные, автобиографические мотивы с вопросами, волнующими целое поколение. Самообнаженное существо поэта раскрыто здесь, и кажется, что в каждой строке поэмы разветвлены окончания его нервов.

За всех – пуля,
за всех – нож.

И в то же время это поэма непреклонной веры в будущее, к

которому люди непременно вырвутся из последних трясин не до конца еще разбитого старого быта.

Революция всегда была для Маяковского «хлеба нужней», «воды изжажданней». «Четырежды славься, благословенная!» – говорил он, обращаясь к революции. Горячими строками стихов он, как искрами, прожигает хамелеонью личину обывателя, меняющего свои цвета.

…дыханьем моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми порами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито…

Вот поэтому-то он говорил, что мало «пиджак сменить снаружи, надо выворачиваться нутром». Он сам проводит внутреннюю чистку своей души и призывает к ней других.

Поэт растет вместе со своей страной, радуясь каждому ее успеху, не боясь предстоящей «адовой работы». Он с теми, кто «вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден». Он живет напряженно, чувствуя каждым нервом великое творческое напряжение страны.

В своих стихах он не раз обращается к образу Ленина. В Ленине поэт видит волю и разум революции. «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди». Но вот

стопудовая весть – «с Ильичей удар».

Смерть Владимира Ильича Ленина Маяковский воспринимает как личное и народное горе.

Он бродит по морозным улицам, стынет в траурных очередях у Дома союзов, стоит в молчаливом Колонном зале.

Он задумал написать большую поэму о Ленине.

Весь 1924 год работает он над поэмой. Тщательно собирает материалы, перечитывает книги, расспрашивает людей, близких Ленину. Он еще и еще раз, тысячу раз примеряет форму, в которую ему хочется отлить поэму о Ленине.

«Владимир Ильич Ленин» – поэма, посвященная автором Российской Коммунистической партии, – лучший литературный памятник Ленину.

С нежностью и уважением, нигде не переходящим в дешевое умиление, говорит Маяковский о Ленине. Широко и точно обозначает он место Ленина в истории. Тяжело, мерно, мужественно звучат траурные строки последней части поэмы, где описываются похороны Ленина.

* * *

В 1925 году, переписанная плотной строкой, без разбивки, сплошняком, ложится эта поэма на дно дорожного чемодана, с которым Маяковский, отправляясь в путешествие, проходит через осмотры таможен Европы и Америки.

Людогусь путешествует

Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

И Маяковский путешествует. В годы первых своих поездок он побывал уже в Латвии, в Берлине и Париже, в Нордернее и Флинцберге. Теперь он едет не только в Германию и Францию, но и в Америку. С гордостью предъявляет он на границах, как знамя подняв над головой, свою «краснокожую паспортину», свою «пурпурную книжицу»: «Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!»

Свои первые поездки он называет «путешествиями Людогуся».

Аксиома:
Все люди имеют шею.
Задача:
Как поэту пользоваться ею?
Решение:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.

И вот поэт, чтобы дальше видеть, чтобы расширить горизонты, «выкручивает» свою шею и превращается в странное существо:

Мысленно себя вытягивая за уши.

* * *

Человек не человек,
а так —
людогусь.

«Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь – существо с тысячеверстой шеей: ему виднее!

У Людогуся громадное достоинство: «возвышенная» шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил.

У Людогуся громадный недостаток: «поверхностная» голова – маленьких не видно».

Но и с высоты своего людогусьего роста Маяковский отлично видит каждую мелочь непривычной для него зарубежной жизни. Он смотрит города, людей, новые вещи. Он взыскательно приглядывается: чему здесь можно научиться? Что следует перенести домой, чтобы внедрить это потом у нас?

Его путевые очерки, его стихи о Западе, об Америке написаны умно и искренне, с подлинным советским патриотизмом, с поэтическим тактом и литературной честностью, с хозяйской заинтересованностью советского человека.

Маяковский одинаково далек и от квасного зазнайства, и от провинциального ротозейного преклонения перед величием американской техники.

«Бруклинский мост – да… Это вещь!» Эйфелева башня в Париже тоже ему по душе. Крепко шарахнули в небо. Но башню ему хочется перенести к себе домой, на родину. «Идемте! К нам! К нам, в РСФСР! Идемте к нам – я вам достану визу!» – призывает он башню.

И восхищение Бруклинским мостом – этим грандиозным приспособлением для простуд и эшафотом для самоубийства безработных – «меркнет перед острой лирической силой строк об американских комсомольцах из лагеря «Нит гедайге» («Не унывай»), которые «песней заставляют плыть в Москву Гудзон».

В какой бы точке земного шара Маяковский ни был, он чувствует себя советским гражданином. Все мысли его обращены к родине. Бродит ли он среди мексиканских кактусов, подымается ли на небоскребные высоты Нью-Йорка, фланирует ли по бульварам Парижа – все равно в стихах его заботы о нашей стране, ее величие, ее горизонты.

И даже сам Атлантический океан, который он пересек, нравится ему главным образом потому, что океан

По шири,
по долу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

«Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах», – пишет он домой.

На каждом шагу за рубежом путешественник Маяковский наталкивается на примеры жесточайшего угнетения человека. Все его поэтическое существо содрогается от этих картин. Он чувствует себя везде человеком с головой, проросшей в будущее, людогусем, пришельцем из передовой страны, опустившимся на дно истории: продажная любовь, ханжество, лицемерие, грубейший вкус…

И как ни радует его железобетон небоскребов, как ни по душе ему грохот и движение больших американских городов, он говорит, что на месте Колумба он Америку сейчас закрыл бы, почистил, а потом бы уже открыл снова.

Он «земной шар чуть не весь обошел». Мир кажется ему большим, вместительным, но «для веселия планета наша мало оборудована».

Он ездит по Европе и Америке, выступает с докладами, читает свои стихи, рассказывает о советской литературе.

Стены аудиторий, в которых он выступает, кажется, вот-вот рухнут, так набиты залы, так грохочет на весь мир из-за морей пришедший голос советского поэта.

Буржуазные газеты сочиняют небылицы о Маяковском, требуют его выслать обратно в СССР. Рабочая пресса дружно приветствует «полпреда стиха» СССР и призывает всех слушать Маяковского, который приехал «стихом побрататься».

Одна из заокеанских газет так описывает выступление Маяковского в помещении Централ Опера Хаус в Нью-Йорке:

«…тысячи искрящихся глаз устремлены на эстраду, заполненную представителями печати пролетарских организаций. Ждут с затаенным дыханием богатыря новейшей поэзии.

Но… прежде надо выслушать приветственные речи. Они льются ручьями самых красивейших возвышенных слов. И при каждом упоминании имени поэта и определении его как «титана русской литературы»… «певца революционных масс» своды огромного зала оглашаются аплодисментами.

…Кончились речи. Из-за колонны появляется Маяковский.

– Добро пожаловать, Владимир Владимирович! – раздается голос председателя.

Зал гремит долго-долго.

Вот он, Маяковский! Так же прост и велик, как и сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький

пиджачок, коротко стриженная большая голова… Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают стихать, но вдруг – совершенно неожиданно – новый взрыв рукоплесканий и вся публика вскакивает с мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками, не видать конца оваций.

…Зал замолк, воцаряется полная тишина, и, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского. Так гремел голос поэта в октябре 1917 года… В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире Пролетарской Социалистической Республики…»

А он, путешествуя по Америке, вглядывается в златозубый оскал заокеанской цивилизации, видит личину «его препохабья» – всемогущего капитала, потом в стихах своих он высмеивает американский доллар, демократию, воплощенную в грандирзной статуе, в знаменитой «бабе-свободе», которая замахнулась на мир «кулаком с факелом», «прикрыв задом тюрьму острова слез». С негодованием разоблачает он гнусное преследование негров.

Уже в те годы Маяковский распознает «рваческий завоевательный характер американского развития». Он предсказывает: «Америка станет только финансовой, ростовщической страной… Может статься, что США сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, – тогда история сможет написать хороший типа Уэллса роман «Борьба двух светов».

Впоследствии поэт прозорливо нарисует в своей патриотической пьесе «Баня» некоего иностранного туриста мистера Понта Кича, приехавшего в СССР и ищущего знакомства не только с историческими достопримечательностями, но прежде всего с некоторыми изобретениями советских техников.

Вот что говорит о нем в пьесе Маяковского один из персонажей:

«Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель, марколюб – по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель… ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям… Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал».

И Маяковский выступает, бросая свои стихи в лицо «его препохабью» – всемогущему капиталу, который, «обирая, лапя и хапая», встал перед ним по ту сторону Атлантики.

В Европе его встречают также восторженно. Здесь его уже

давно знают, и нет почти ни одного революционного поэта, который бы не испытал на себе влияния Маяковского. «В Праге отмахал всю руку – столько понадписывал своих книг…» – пишет Маяковский домой. «Был большущий вечер, рассчитанный на 1000 человек, – продали все билеты, а потом стали продавать билетные корешки. Продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места».

Пражская газета «Лидове новины» так описывала впечатление, которое произвел на чешских слушателей Маяковский:

«Его могучий голос буквально гремел по всему зданию. Это не было декламацией, с какой мы знакомы в Европе, это был взрыв энергии, чувства, силы и, наконец, просто самой человеческой души.

Слушатели, захваченные необычайной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого колебал колонны зала, были совершенно потрясены. Успех лекции был таков, что трудно его сравнить с чем-нибудь когда-либо показанным в Праге в области декламационного искусства».

Высокого вкуса, остроумия и грозного благородства исполненны стихи Маяковского о Париже. Ему нравится город, его бульвары и улицы. Ое даже заранее отмечает, что надо будет поберечь в архитектуре, чтобы ядром ничего не портить, когда революционный народ пойдет громить префектуру по соседству. Поэт признается, что он «хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли – Москва». И однажды говорит своему знакомому:

– Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится, пойду с Чекой в Париж. Зная состав этого города, буду полезен.

Он не хочет вымокать и ржаветь под «иностранными дождями». Его тянет домой, в боевую, кипучую «бучу» нашей советской жизни.

Поездки за границу не только обогащают его нужным материалом, расширяют его «людогусьи горизонты». Там, в чужой, рассмотренной им до самого дна жизни еще грандиознее делается его «громада любовь» к родине, «громада ненависть» к старью.

Вернувшись на родину, он отправляется «менестрелить»: разъезжает по Советскому Союзу, продолжая «прерванную традицию трубадуров и менестрелей» – бродячих поэтов и певцов.

Он ездит по городам Советской страны, рассказывает о своих заграничных впечатлениях, читает стихи, спорит и расправляется с литературными противниками. Его выступления во всех углах

СССР не похожи на гастрольные концерты. Разговор Маяковского с читателем идет всерьез, начистоту. Он обогащает аудиторию, дает ей крепкую революционную зарядку.

Маяковский уделяет этой работе много сил и времени. «За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка на заводе Шмидта; от пяти до семи – красноармейцам и матросам в только что отстроенном прекрасном, но холодном, неотопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу – в университете – это Баку».

В Ленинграде, в Баку, в Киеве, в Саратове, в Виннице, в Харькове, в Ростове – во всех крупных городах Советского Союза гремит его мощный голос. Сперва появляются афиши, возвещающие о его прибытии, потом приезжает он сам, окруженный легендами и сплетнями.

Огромный, широкоплечий, еще полный большого путевого движения, еще не потерявший кругосветного разгона, он взбирается на сколоченные наспех подмостки в цехах, выходит на эстрады клубов и больших городских залов.

Разговор с читателем он считает для себя таким же кровным делом, как непосредственную работу над стихом. В этих разговорах он неутомимо агитирует за новые требования, которые должны предъявляться к революционному поэту. —

Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!

«В наше время тот поэт, кто напишет марш и лозунг!» – говорит Маяковский. Он рассказывает о новых задачах литературы, о месте поэта в рабочем строю.

Так живет он, разъезжая, работая, вглядываясь. Так живет он в ругне, спорах, веря, что вовек не придет к нему «позорное благоразумие». И его, неутомимого, несдающегося, напролом идущего вперед, ждут во всех концах страны не только рабочие, но и студенты, комсомольцы.

Его хотят услышать, его хотят повидать и в Одессе, и в Краснодаре, и в Казани… Стоит ему только приехать в город, в гостиницу к нему стекаются читатели, поэты, журналисты,

переводчики.

Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски…»

Долгое время, уже после его отъезда, еще идут споры в редакциях, в институтах. Приезд Маяковского каждый раз событие. И в самых тихих городках разгораются бурные дискуссии о Маяковском.

За Маяковского – молодежь, студенты, краснофлотцы, рабфаковцы, новая советская интеллигенция.

Против Маяковского – те, кто любит похвастаться своей «старой закалкой», местные литераторы из неудачников, особого рода библиотекари, считающие своим долгом «оберегать вкус рабочих и крестьян», и просто обыватели…

Когда его долго нет в Москве, в литературе тихо и пусто. И люди с нетерпением ждут, когда появятся знакомые афиши, возвещающие о том, что в Большой аудитории Политехнического музея выступит поэт Владимир Маяковский.

На капитанском мостке

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.

Политехнический осажден. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок… Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.

Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам… Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа: пятьдесят контрамарок… ну, двадцать – тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Больше нет. Он оскудел.

И Маяковский продирается к входу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы.

Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц, особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих.

Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как удила.

По лестнице поднимается шум осады:

– Ма…
я…
ков…
ский!..
Про…
пусти…
те!!

Владимир Владимирович, почти сконфуженный, говорит мне:

– Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору – мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть

пропустят пять человек, скажите: последние… Ну ладно, заодно уж восемь… словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, клянитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил…

Тем временем строптивый зал уже топочет от нетерпения.

И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую груду хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.

В одной руке Маяковского портфель, в другой – стакан чаю.

Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы. Громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился. Он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит наверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурок вдруг сдвигается в широкой улыбке.

– Галерка! – произносит Маяковский грохочущим басом.– Студенты, сюда!

И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в партере. Студенты валят вниз. Растерянные капельдинеры сметены.

– Горные жители спускаются в долину, – вполголоса говорит Маяковский.

Пять минут шума, топота, веселых перекликаний, толкотни, и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории, – все заполняется горячеголовой, яснолицей молодежью. И огромные глаза Маяковского, поражающие обычным своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака, он засовывает ладони под пояс. Поза почти спортивная.

– Сегодня, – начинает он, – я буду…

Сообщается программа вечера.

– После доклада – перерыв: для моего отдыха и для изъявления восторгов публики.

– А когда же стихи будут? – жеманно спрашивает какая-то девица.

– А вам хочется, чтобы скорее интэрэсное началось? – так же жеманно басит Маяковский.

Первый раскат заглушённого хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование. И вот Маяковский начинает свой доклад.

Собственно, это не доклад, это блестящая беседа,

убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. Память его необъятна. Без труда цитирует он десятки строк других поэтов. Недаром говорят друзья: у Володи память как дорога в Полтаве – каждый галошу оставит. На шевелюру и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки.

Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.

Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронес ее над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчете: «смех», «аплодисменты», «общий смех», «бурные аплодисменты».

На стол слетаются записки из всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. «Шум в зале», – констатирует стенограмма.

– Не резвитесь, – говорит Маяковский. Он не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала.

– Не резвитесь… Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился еще ни в дворянской семье, ни в купеческой такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте! А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала: здесь не читальный зал, здесь слушают меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет. Идите, я вас не задерживаю… А вы там тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настежь? Вы не человек, вы шкаф.

Он ходит по эстраде, как капитан на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко, без натуги, распоряжается залом.

Становится жарко. Он снимает пиджак, аккуратно складывает его. Кладет на стол. Подтягивает брюки.

– Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы? Безусловно!

Некая шокированная дама почти истерически кричит:

– Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотреть противно!..

– А если они у меня свалятся?..– вежливо интересуется Маяковский.

Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.

– Что?.. Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете… А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.

– До моего понимания ваши шутки не доходят, – ерепенится непонимающий.

– Вы – жирафа! – восклицает Маяковский.– Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.

Противники никнут. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.

Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.

– Маяковский! – вызывающе кричит молодой человек.– Вы что полагаете, что мы все идиоты?

– Ну что вы! – кротко удивляется Маяковский.– Почему все? Пока я вижу перед собой только одного…

Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно доказывать, что «Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего».

Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.

– Вот странно, – задумчиво говорит вдруг Маяковский, – труп я, а смердит он.

И оратор кончился… Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.

– Если вы будете шуметь, – урезонивает их Маяковский, – вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора.

Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду.

Он клеймит Маяковского за гигантоманию.

– Я должен напомнить товарищу Маяковскому, – горячится коротышка, – истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного – один шаг…

Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается:

– От великого до смешного – один шаг, – и показывает на себя и на коротенького оратора.

А зал надрывается от хохота.

Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове, Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин был величайшим поэтом.

– Вот Анатолий Васильевич Луначарский упрекает меня в неуважении к предкам. А я месяц назад во время работы, когда Брик начал читать мне «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Проникновенно и почти благоговейно звучит его низкий голос, плывущий пушкинской строфой.

– Конечно, – продолжает он, – мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет нам накладывать петлю на шею, тысячи раз!.. Учиться этим максимально добросовестным приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли.

Какой-то крикливый оппонент, все время пытавшийся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое. Но он, оказывается, «раздумал, да и вообще не собирался».

Маяковский торжественно возглашает:

– По случаю сырой погоды фейерверк отменяется… Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.

Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей.

– Громче! Не слышно, громче! – кричат из зала.

– Боюсь, – говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, – боюсь: сдую…

Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. И сторонники и противники стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С мастерством и могучей простотой читает Маяковский. Его неохватный голос звучен, бодр, искренен. Все уголки Политехнического плотно заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты. Слово такое большое и объемное, что, кажется, вот-вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое, слово радостное и яростное, шершавое и острое

колышет остановившийся воздух зала:

И жизнь хороша,
и жить хорошо!

Гремит взволнованный зал. Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория.

Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе.

Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.

– Это еще что за выходящая из ряда вон личность? – грозно вопрошает Маяковский.

Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя, говорит:

– Побриться пошел…

Зал лопается от хохота. Борода обескуражеино и негодующе исчезает за дверью, словно вынесенная взрывной волной смеха. Теперь, положив карандаш, аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры учтиво прикрывают ладонью рты, расползающиеся в улыбке.

Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них.

– Читайте все подряд, что вы там ищете? – уже кричат из зала.

– Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна…

С беспощадной неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литературных барышень.

«Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?»

– А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет… Ни с кем делиться я не собираюсь… Ну-с, дальше…

«Как ваша настоящая фамилия?»

Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу.

– Сказать?.. Пушкин!!!

«Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский?»

– Гм! Почему же нет? Вот поеду еще разок туда, женюсь там, может… Вот и, вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский.

«Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие – не ваш удел…»

– А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!

«Ваше последнее стихотворение слишком длинно…»

– А вы сократите. На одних обрезках можете себе имя составить.

«Ваши стихи мне непонятны».

– Ничего, ваши дети их поймут!

– Нет, – кричит автор записки из зала, – и дети мои не поймут!

– А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее.

«Маяковский, почему вы так себя хвалите?»

– Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.

– Вы это уже говорили в Харькове! – кричит кто-то из партера.

– Вот видите, – спокойно говорит Маяковский, – товарищ подтверждает.– Он на мгновение замолкает и смотрит иронически в зал.– А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.

Он продолжает ворошить записки. «Как вы относитесь к Безыменскому?»

– Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется «свисток – серп и молоток». Безыменский, ну-ка, прочитайте, не стесняйтесь.

В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.

– Ну вот, пожалуйста! – говорит Маяковский.– Разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: «серп и молотушка»?

«Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит, вы грязный…»

– А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?

«Маяковский, попросите передних сбоку сесть, вас не видно».

– Ну проверните в передних дырочку и смотрите насквозь… Что такое? А, знакомый почерк. А я вас все ждал. Вот она, долгожданная: «Ваши стихи непонятны массам». Значит, вы опять здесь? Отлично! Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.

Еще с места:

– Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.

– Надо иметь умных товарищей!

– Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не

заражают.

– Мои стихи не море, не печка и не чума.

– Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.

– Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу.

– Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.

– А как вы думаете, Николай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай Вторый… И нельзя везде во всем говорить «мы». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же, вы так и скажете: «Мы вас любим?» Она же спросит: «А сколько вас?»

Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек в сюртуке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского.

– Не-ет, сударь, извините… – сердится он.– Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Нуте-с?

Владимир Владимирович быстро вытягивается, руки по швам, и говорит школьной скороговоркой:

– П'остите, п'остите, я больше не буду!

– А все-таки Пушкин лучше вас! – кричит кто-то.

– А, – говорит Маяковский, – значит, вам интереснее слушать Пушкина? Отлично!.. А. С. Пушкин! «Евгений Онегин». Роман в стихах. Глава первая.

Мой дядя самых честпых правил,
Когда не в шутку занемог…

И он начинает читать наизусть «Евгения Онегина». Строфа за строфой. «Онегина» он знает наизусть чуть ли не всего… В зале хохочут, смеются, вскакивают. Он читает. Только тогда, когда зал уже изнемог, Маяковский останавливается:

– Взмолились?.. Ладно. Вернемся к Маяковскому… И, пользуясь затишьем, он опять серьезно и неутомимо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней.

– Я люблю Пушкина! Наверное, больше всех вас люблю его. «Может, я один действительно жалею», что его сегодня нет в живых! Когда у меня голос садится, когда устанешь до полного измордования, возьмешь на ночь «Полтаву» или «Медного всадника» – утром весь встаешь промытый, и глотка свежая… И хочется писать совсем по-новому. Понимаете? По-новому! А не переписывать, не повторять слова чужого дяди! Обновлять строку,

слова выворачивать с корнем, подымать стих до уровня наших дней. А время у нас посерьезней, покрупней пушкинского. Вот за что я дерусь!

Кончился вечер. Политехнический вытек. Мы едем домой.

Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат из всех его карманов.

– Все-таки устаешь, – говорит он.– Я сейчас как выдоенный, брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-ч-чень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет: уважают, значит, черти. Рабфаковец этот сверху… удивительно верно схватывает. Приятно. Хорошие ребята. А здорово я этого с бородой?..

Уже в который раз провожаю я его домой после таких вечеров, полных стихов, перепалок а оваций. И каждый раз хочется при этом повторять и мне радостно-восторженные строки, которые посвятил ему Семен Кирсанов:

Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью вскручен, как вьюгой,
Что мне с капитаном таким довелось
Шаландаться по морю юнгой.

Что такое хорошо и что такое плохо

Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Маяковский исключительно работоспособен. Он работает ежедневно, круглосуточно, самоотверженно. Со страниц «Комсомольской правды» на всю страну гремят его стихотворные фельетоны. Зорко приглядывается он к быту советской молодежи. Бьет тревогу по каждому случаю, который пятнает или может запятнать знамя комсомола, задержать рост комсомольцев. Он до остервенения не терпит халтуры, приспособленчества, хамства. Пошлость, самая наималейшая, вызывает в нем почти физическое омерзение.

– Не пошлите! Только не пошлите, пожалуйста! – говорит он, словно припечатывая это требование ударом широко раскрытой пятерни по столу.

И пишет:

«Пускай партер рукоплещет: браво, а мы, где пошлость, везде должны, а не только имеем право, негодовать и свистеть».

Он доказывает на деле, всей своей работой, что высокое мастерство нужно ему прежде всего для того, чтобы как можно убедительнее, как можно крепче, наиболее запоминающимся образом и рифмами внедрять в мозги, в жизнь идеи социалистической революции.

– Сейчас все пишут, и очень недурно, – заявляет он.– Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная…»

Все более простыми и ясными делаются его стихи, ничего не потерявшие, ничего не уступившие в своих творческих правилах.

Эти железные правила своей работы, новые законы стиха он защищает и в статьях и в стихах. Его «Разговор с фининспектором о поэзии», написанный в 1926 году, посвящен основным поэтическим и творческим принципам, которые Маяковский считает обязательными для поэта. Образно и наглядно объясняет Маяковский, во что обходятся настоящему поэту драгоценные слова, добытые «из артезианских людских глубин».

«В грамм добыча, в год труды»… «Тысячи тонн словесной

руды» приходится извести поэту, чтобы превратить «слово-сырец» в слово, которое ведет за собой как «полководец человечьей силы».

Трудно назвать в истории мировой литературы поэта, который получал бы такие разноречивые оценки и вызывал столь яростные споры, какие порождает среди современников Маяковского его творчество. Враги отрицают его начисто, они огульно поносят все, что пишет Маяковский, ему отказывают даже в праве поэтического голоса, пытаются изобразить уничтожителей всякой поэзии вообще…

Но те, кто верит в победу великой правды, которую открыло учение коммунистов, видят в Маяковском поэтическое выражение новой, великой эпохи. Они восторженно приветствуют героическую работу поэта, уважительно вслушиваются в раскаты его громового голоса.

«Будет забыт завтра же!..», «Непонятен рабочим и крестьянам», – вещают противники, частенько прикрывая свою ненависть к Маяковскому фальшивой заботой о пролетарском читателе.

«Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!» – пишут поэту бакинские судоремонтники.

«Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав… дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!» – зовут поэта рабочие и крестьяне, одетые в форму Вооруженных Сил Советской страны.

«Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них…» – требует к себе поэта молодежь Ростова, Киева, Харькова, Ленинграда и Краснодара.

«Кумачовая поэма!» – вопят литературные кликуши и нашептывающие в своей обомшелой злобе противники поэта, спеша охаять его новые стихи.

«Громыхание пустой сорокаведерной бочки по булыжнику», – подхватывают перепуганные эстеты, затыкая уши, чтобы не слышать воинствующего звучания стихов Маяковского, и, притворяясь тугоухими, уныло бубнят, что Маяковский «непонятен».

А те, за кем восторжествовавшая правда нового века, те, кто вслушивается в строки Маяковского, посвященные Родине и революции, кто радостно воспринимает величие замысла и великолепное воплощение его, пишут, подобно А. В. Луначарскому:

«Это Октябрьская революция, отлитая в бронзу».

Один из тех, кто, разойдясь с Коммунистической партией, стал яростным врагом Советской страны, в своей книжке о пролетарской литературе пренебрежительно утверждает, что

Маяковский никогда не станет настоящим поэтом революции, что он всегда останется мелкобуржуазным певцом анархиствующей интеллигентской богемы.

Но время решает спор в пользу поэта. Народ с брезгливым негодованием отмахивается от крикливых наветов на поэта, рифмы, темы, дикция, бас которого, весь могучий дар, целиком, до последней строчки отданы социалистической Родине, Октябрьской революции, Коммунистической партии.

Если самым скромным, простым перечислением, как это делается в оглавлениях, напомнить, про что взялся и сумел рассказать своим соотечественникам и всему миру Маяковский, то и тогда возникнет ошеломляющий перечень тем. Уже они дают представление о гигантском масштабе работы, которую принял на свои широкие плечи поэт.

В самом деле!.. Про что сказал всему миру своими стихами Маяковский? Про то, что на одной шестой земной суши произошла Великая Октябрьская революция и народ взял власть в свои руки. Про то, что началось строительство нового мира, и о том, как, возглавляемый ленинской партией большевиков, народ Страны Советов преодолел наитягчайшие трудности на избранном им пути. Он, народ, отстоял добытое пролетарской революцией право на разумное, светлое существование. Прошел через страшные испытания разрухи, отбил нападение интервентов из полутора десятков капиталистических стран и удержал «взвитое красной ракетой, руганное и пропетое, пробитое пулями знамя», которое склонилось над гробом Ильича, чтобы затем снова подняться еще выше, возвещая «весну человечества». Народ утвердил новые, свободные законы социализма и вот уже закладывает прочные основы для построения коммунистического общества. И возникли новые отношения между гражданином и государством, между рабочим и трудом, между сегодняшним и завтрашним, между любовью к подруге и к Родине…

Обо всем этом в предшествовавшие времена самые передовые представители человечества могли лишь мечтать. И чтобы выразить историческую новизну нашей эпохи, ее величие и необыкновенность, чтобы передать масштабы творимого нашим народом, нужен и поэт необыкновенный. Таким и встает перед всем миром Маяковский. Не только вдохновенный трибун социалистической революции, но и сам – всем своим существом, всей своей поэтической сутью – подлинный сын Октябрьской революции, сам по себе явление революции.

Не все сразу понимают это. Некоторые все еще думают, будто главное новаторское значение поэзии Маяковского заключается в

том, что Маяковский ввел новые сложные рифмы, установил особый принцип рифмовки, о котором я скажу дальше, нарушил старые, установившиеся размеры стиха, стал печатать стихи строчками-лесенками, ступенчатой строфой. Но все эти нововведения – лишь технологические приемы, которые Маяковский считает наиболее удобными для построения стиха, отвечающего новым задачам, стоящим перед поэзией.

Говорить, что все новаторство Маяковского заключается в новой форме его стиха, – это все равно что, сравнивая сегодняшнюю Москву с дореволюционной, свести все к тому лишь, что раньше жители ее ездили на извозчиках, а теперь на такси, ничего не сказав о великих переменах в самой жизни москвичей…

Главное в другом.

Главное заключается в том, что Маяковский заставляет пересмотреть привычное отношение к поэзии. Сам он видит в новой поэзии не только отражение революции, но и ее вооружение. Он утверждает законы новой революционной эстетики. Он говорит о том, что поэзия может быть истинно прекрасной лишь тогда, когда она служит революции, народу, помогает делать прекрасной самое жизнь. Он решительно отказывается понимать, что произведение литературы или какого-либо другого искусства, направленное против нашего дела, может быть хорошим с точки зрения какой-то отвлеченной красоты. Маяковский видит подлинную красоту в борьбе за новый мир, за свободу человека. Все, что мешает людям освободиться от «ушедшего рабьего», все, что замедляет шаг истории, Маяковский убежденно считает безобразным.

Как-то один развязный молодой человек приносит Маяковскому свои витиевато-изысканные стихи и просит поэта высказать свое мнение о них. Маяковский берет, читает и вдребезги разносит показанные ему вирши и за тон и за содержание:

– Паршивые, отвратительные стихи, типично белогвардейские!

Самоуверенный автор не сдается:

– Я вас не про содержание спрашиваю, Владимир Владимирович, я заранее предполагал, что содержание вам придется не по вкусу, но форма, какова форма, скажите?

– И форма такая же, – отвечает Маяковский, – с кокардой и с аксельбантами, белогвардейская форма.

Он вошел в литературу как разрушитель устаревших канонов искусства и жизни, как гневный ниспровергатель устоев старого быта, как бунтарь, ненавидящий все способы принуждения.

Теперь он становится провозвестником новой, народной государственности, певцом боевой, революционной дисциплины, человеком, который, воспевая железную диктатуру пролетариата, радуется успехам новой законности. Он пишет о мужестве наших чекистов и дипломатов, восхищенно говорит о новых, часто неумолимо строгих, но дающих возможность построить прекрасное будущее принципах социалистического порядка.

Обычно всякий большой поэт, как нам известно по истории литературы, бывал в оппозиции к властям, от имени народа призывая противоборствовать законам и предрассудкам, бросая вызов тем, кто сделали себя неправедными хозяевами жизни. И вот впервые в истории литературы свободолюбивый огромный поэт открыто заявляет, что он верой и правдой, каждой строкой своей хочет служить новой власти – власти Советов, власти народа.

– Мне наплевать на то, что я поэт, – сказал он однажды в сердцах.– Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение – заметьте, в услужение – сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее – Советскому правительству и партии.

Так он утверждает совсем новое отношение и к самой поэзии, и ко всем элементам стиха – к рифме, к ритму, к самому построению строки.

Напевная, мелодичная строка поэтов-символистов разрывается Маяковским на клочья. Мягкая, ритмическая качка стиха заменяется тяжелым, задыхающимся бегом. Ритм стиха вольно меняется по требованию темы. Строка, как солдат, «подменяет ногу» на ходу, чтобы «шаг» стиха соответствовал каждый раз, при любом повороте темы, новому смысловому строю. Вместо усыпляющей, укачивающей поэзии возникает новая, будоражащая, взъерошенная, беспокойная поэзия революции.

Маяковский вводит в стихи приемы ораторской речи.

Меняется и весь словарь поэзии. Изысканное, хрупкое слово литературно-книжного обихода непригодно для речи поэта-трибуна, для марша, для лозунга.

Маяковский открывает доступ в поэзию словам из разговорного обихода, иной раз грубоватым, режущим ухо, но полным жизни, свежести и силы. В поэтической лаборатории Маяковского они превращаются в слова-громады, которые поражают читателей своей силой и неожиданно найденной новой сутью.

Ораторский разговорный строй стиха требует сжатости, лаконичности.

Маяковский выбрасывает из стихов своих все лишнее, все, что замедляет течение строк, все, что разъединяет слова. Слова у него стоят плотно. Он пишет с телеграфной краткостью и точностью, но каждое слово оплачено им по самому высокому тарифу сердца, мысли и крови. Каждое слово найдено в труде, продумано, взвешено и скреплено «строкоперстой клятвой» поэта.

Строка Маяковского разбита на ступеньки, облегчающие чтецу-оратору произнесение стиха вслух. Но от этого строка не распадается. Ее крепко связывают в одну звуковую цепь изобретательно найденные созвучия внутри слов, повторяющиеся схожие слоги. Неожиданные, никем не употреблявшиеся рифмы заканчивают строки, «подтянув подпруги» стиха. Обычно у поэтов рифма откликалась привычно и послушно, как эхо. Звукопись строки у символистов была неким внутренним таинством слов, открывающимся лишь для избранных.

У Маяковского слова звучат во всем своем обнаженном естестве, ничего не утаивая. Всегда поражающие рифмы Маяковского – не просто выпиленная рамка четверостишия, а отточенное оружие поэта. «Рифма – бочка. Бочка с динамитом. Строчка – фитиль… Строка додымит, взрывается строчка, и город на воздух строфою летит…»

«Дрянцо хлещите рифм концом…», «Цельсь рифмой и ритмом ярись!..»

«Самые важные слова в стихе, – говорит Маяковский, – термины, названия, понятия, имена – должны быть обязательно зарифмованы, должны стоять в конце строчки ударными словами…»

Необыкновенные составные многосложные рифмы Маяковский вводит в стихи приемы ораторской речи.

Меняется и весь словарь поэзии. Изысканное, хрупкое слово литературно-книжного обихода непригодно для речи поэта-трибуна, для марша, для лозунга.

Маяковский открывает доступ в поэзию словам из разговорного обихода, иной раз грубоватым, режущим ухо, но полным жизни, свежести и силы. В поэтической лаборатории Маяковского они превращаются в слова-громады, которые поражают читателей своей силой и неожиданно найденной новой сутью.

Ораторский разговорный строй стиха требует сжатости, лаконичности.

Маяковский выбрасывает из стихов своих все лишнее, все, что замедляет течение строк, все, что разъединяет слова. Слова у него стоят плотно. Он пишет с телеграфной краткостью и точностью, но каждое слово оплачено им по самому высокому тарифу сердца,

мысли и крови. Каждое слово найдено в труде, продумано, взвешено и скреплено «строкоперстой клятвой» поэта.

Строка Маяковского разбита на ступеньки, облегчающие чтецу-оратору произнесение стиха вслух. Но от этого строка не распадается. Ее крепко связывают в одну звуковую цепь изобретательно найденные созвучия внутри слов, повторяющиеся схожие слоги. Неожиданные, никем не употреблявшиеся рифмы заканчивают строки, «подтянув подпруги» стиха. Обычно у поэтов рифма откликалась привычно и послушно, как эхо. Звукопись строки у символистов была неким внутренним таинством слов, открывающимся лишь для избранных.

У Маяковского слова звучат во всем своем обнаженном естестве, ничего не утаивая. Всегда поражающие рифмы Маяковского – не просто выпиленная рамка четверостишия, а отточенное оружие поэта. «Рифма – бочка. Бочка с динамитом. Строчка – фитиль… Строка додымит, взрывается строчка, и город на воздух строфою летит…»

«Дрянцо хлещите рифм концом…», «Цельсь рифмой и ритмом ярись!..»

«Самые важные слова в стихе, – говорит Маяковский, – термины, названия, понятия, имена – должны быть обязательно зарифмованы, должны стоять в конце строчки ударными словами…»

Необыкновенные составные многосложные рифмы рождаются в стихах Маяковского: «Носки подарены – наскипидаренный», «Молот и стих – молодости», «За мед нам – пулеметным», «Оперяться – кооперация», «Карьер с Оки – курьерский». Рифмы эти накрепко запоминаются. А большое богатство ритмов придает стиху Маяковского особую энергию.

Находятся еще критики, которые упрекают Маяковского в том, что стихи его чужды духу русской поэзии и рифмы, применяемые Маяковским, несвойственны русскому стиху. Эти литературоведы забывают о великолепном опыте народного творчества и, отгораживаясь от достижений русского фольклора, высокомерно называют рифмы Маяковского урбанистическими, вычурными, чужеродными в русском стихосложении. Между тем известно, что народ в своем творчестве широко и издавна пользуется всевозможными составными и многосложными рифмами, употребляет охотно игровые рифмы, консонансы, концовки строк, опирающиеся на созвучие гласных при несовпадении неударных согласных. Народная поговорка позволяет себе рифмовать: «Все полезно, что в рот полезло…», «Либо пан, либо пропал», а кто не знает частушки:

Ты ли меня, я ли тебя иссушила,
Ты ли меня, я ли тебя извела…
Ты ли меня, я ли тебя из кувшина,
Ты ли меня, я ли тебя из ведра…

Маяковский жадно прислушивается к народным рифмам и уверенно вводит их, по-своему совершенствуя и разнообразя, в стих. Он с неистощимой изобретательностью открывает новые, запоминающиеся созвучия, значительно расширяет запас рифмующихся слов. По праву считает он себя поэтом-словотворцем, обогащающим литературный язык и помогающим народу выражать свои новые чувства, новые думы.

Но Маяковский все время неустанно подчеркивает, что не игра рифм, не блеск образов являются для него решающими в поэзии.

Теперь
для меня
равнодушная честь,
что чудные
рифмы рожу я.
Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.

Открытия Маяковского применяют в своих стихах и другие поэты. Маяковский, в стихах которого бок о бок уживаются пафос и насмешка, оратория и частушка, здравица и проклятия, лирика и плакат, выводит за собой молодую поэзию советской эпохи, мировую революционную литературу на новые просторные пути.

Но сколько бездоказательных упреков вызывают со стороны некоторых литераторов и критиков те приемы ораторской речи, которые широко разрабатывает Маяковский в своей поэзии! Такие приемы известны были еще в классической поэзии древних. Употреблялись они и великими поэтами нашей родины. Помните, например, «О чем шумите вы, народные витии» Пушкина или «А вы, надменные потомки» в гневных строках лермонтовского стихотворения «Смерть поэта». Но ораторские приемы у Маяковского опираются на новые принципы, определяемые иными позициями, иными возможностями поэта.

В классических, приведенных выше примерах из русской

поэзии сама фигура поэта-трибуна, поэта-оратора как бы отсутствует. Существует лишь адресат, к которому обращены строки стиха. У Маяковского же обычно в стихе присутствует и сам поэт, возникает его личность с определенным характером и рядом вполне различимых черт. И тогда рождается особый склад поэтической фразы, непосредственно обращенной к читателю, повелительной, спрашивающей, требующей, договаривающейся до конца, без недомолвок.

Некоторые готовы видеть в этом «нескромность» поэта. Маяковского упрекают в зазнайстве, эгоцентризме, в стремлении выпятить собственное «я» и поставить его во главу угла.

В этих вздорных обвинениях сказывается нежелание или неумение понять самый смысл и новую направленность ораторских интонаций Маяковского. Ведь личность автора, несмотря на определенные индивидуальные черты его, в поэзии Маяковского обобщается. Когда Маяковский ведет, например, в известном стихотворении «Необычайное приключение» личный разговор с солнцем, как бы ставя себя рядом со светилом, он говорит прежде всего не о себе, а о назначении поэта и революционного искусства, освещающего людям дорогу к счастью, согревающего человеческие сердца. Отождествляя свою поэтическую позицию с солнечной, считая себя как бы подсменным светилом, Маяковский и провозглашает: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой – и солнца!»

В духе этой же почтительной иронии беседует Маяковский и с Пушкиным – солнцем русской поэзии. Ему дорог живой и страстный облик поэта, на которого пытаются навести «хрестоматийный глянец». Только очень тугоухие могут утверждать, что Маяковский не понимает Пушкина, мелко соперничает с ним. Ненавистник «всяческой мертвечины», обожатель «всяческой жизни», он глубоко любит и ценит Пушкина, «но живого, а не мумию». И, когда на экранах появляется картина, искажающая образ Пушкина, Маяковский гневно выступает на диспуте.

– Это глумление! – кричит он.– Вы не смеете… Не смеете так показывать Пушкина – поэта, равного которому не было и нет в России.

И когда он пишет в своей поэме: «Улица – моя, дома – мои», «В моем автомобиле мои депутаты» или «Сидите, не совейте в моем Моссовете», – то речь здесь идет не о зазнайстве, как полагают тугоухие и близорукие, и, уж конечно, не о стремлении похвастаться собственной машиной, как ехидничают завистники…

Нет, здесь сказывается гордость, присущая советскому человеку, чувство полновластного хозяйствования, сознание законной власти, делимой со всем народом, уверенность гражданина страны социализма, отвоеванная в боях, добытая в неустанном труде.

И потому, что в каждом почти стихе Маяковский – оратор, убеждающий слушателя, и чаще всего он говорит от своего лица, от самого себя, все, даже самые злободневные стихи его звучат большей частью лирически, как непосредственный, живой голос поэта.

Поэтому впервые в истории мировой литературы рождается стих, в котором оказалось возможным сосуществование и взаимопроникновение лирики, исторического эпоса, публицистики, высокого пафоса и уничтожительной насмешки. Грандиозная оратория соседствует в поэзии Маяковского с народной зубодробительной частушкой и фельетоном, торжественная здравица звучит рядом с гневным проклятием, течение баллады перекрывают политические лозунги, боевой марш уживается с нежнейшими любовными строфами.

Поэт живет едиными со всем народом мыслями и чувствами. Он стремится быть «народа водителем» и одновременно народным слугой. Не может он оставаться в стихах своих безликим. Его собственные чувства, помыслы и страсти сливаются с думами, чаяниями народа, проверяются ими. Так и возникает удивительный сплав лиризма и политической публицистики.

Не для того чтобы выпячивать собственное «я», воспеть себя, пишет Маяковский от своего имени предельно искренние стихи, полные глубочайших личных переживаний и высокой гражданской страсти. Он воспевает и славит революцию, советского человека, гражданина-бойца, передовика всего разумного человечества, новую любовь его, очищенную от скверны рабьего прошлого. Фигура самого автора присутствует в поэзии Маяковского главным образом и прежде всего как личность советского гражданина, как образ патриота, влюбленного в свое социалистическое отечество, всем сердцем верящего, всем существом устремленного в прекрасное коммунистическое будущее.

Белинский приводил известные слова Гоголя о Пушкине, писавшего, что это был русский человек во всем его будущем величии.

Маяковский, встающий в своих стихах как поэт-трибун, оратор, глашатай великой любви, друг и пламенный собеседник читателя, – это тоже прежде всего русский, советский человек во всем его завтрашнем коммунистическом величии.

Именно с этих позиций выступает всегда в своих стихах Маяковский. Он начал как бунтарь, разрушивший старый мир. Теперь он говорит как строитель нового, социалистического государства, нового, справедливого и светлого порядка жизни.

И все больше и больше людей в мире начинают понимать, что Маяковский – это совершенно новое явление в литературе, принципиально новый тип поэта-борца, поэта-организатора. Такого могла породить и воспитать только великая пролетарская революция.

И Маяковский становится первым великим русским поэтом, имеющим возможность оказать могучее влияние на развитие передовой поэзии всего мира.

Значит ли это, что Пушкин и Лермонтов, например, хуже?..

Нет, конечно! Так может ставить вопрос лишь тот, кто путем ненужных сравнений стремится непременно унизить одного великого поэта за счет другого. Пушкин и Лермонтов – национальная гордость нашей страны, слава и драгоценное достояние культуры всего передового человечества. Но, когда жили и творили Пушкин и Лермонтов, страна наша не выходила еще на аванпосты мировой культуры. Она была в ту пору еще отсталой страной. И это, естественно, сказалось на резонансе нашей литературы за рубежом: ей в то время было еще трудно добиться международного признания. С прозой благодаря большей доступности перевода дело обстояло, как известно, лучше. Тургенев, Толстой и Достоевский стали на долгие годы подлинными властителями умов во всем мире. Но, например, даже такого гениального писателя, как Чехов, по-настоящему узнали на западе Европы и в Америке лишь после турне Московского Художественного театра, совершенного в первые годы революции…

Еще труднее было пробиться нашим поэтам, звучание которых при всей безграничной широте их таланта и творчества сохранило в каждой строке национальную самобытность.

А Маяковский загремел во весь свой мощный голос тогда, когда страна наша стала провозвестницей торжества новых идей, ошеломивших человечество и заставивших повернуться на залп «Авроры» каждого, у кого не заросли мхом уши. На наше счастье, в те годы уже созрел у нас поэт, дар и поэтический диапазон которого были под стать размаху революции, поэт, который взялся рассказать миру о подвиге и величии сбывшейся революции.

Маяковский выбирает для себя самые трудные дороги, по которым еще не ходил ни один поэт. Он отказывается свернуть на тропку, которая «протоптанней и легше». Он не обходит трудных

тем, он смело берется за них. И, когда слабонервные юнцы и девицы, начитавшись печальных стихов Есенина, готовы воспевать самоубийство, самовольный уход из жизни, Маяковский выступает со стихами, которые всеми строками, как сотней дружеских рук, поддерживают ослабевших, жестоко встряхивают нытиков, вправляют им мозги.

Это стихотворение – «Сергею Есенину».

Все свое мастерство, всю свою изобретательность вложил поэт в заключительные строки стихотворения, где он заново, по-своему, повернул смысл и придал новое звучание предсмертным строкам Есенина: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей…» Строки эти были уже многими заучены и пелись на все голоса. Маяковский выколотил из этой уже привычной строфы ее легко укореняющийся упадочный, вредный смысл и вогнал в нее формулу, крепко запоминающуюся, живительную и зовущую к борьбе: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней».

Маяковский, как и все великие поэты, становится подлинным «властителем умов» молодежи.

Он становится живой совестью молодой революционной поэзии.

Разъезжая по стране, он примечает огромную перемену, происшедшую в жизни миллионов людей, восторгается новыми индустриальными пейзажами, радуется переделке земли и человека, радуется каждой мелочи, несущей на себе печать нового.

Он безжалостно выволакивает на свет замеченную им и нашей жизни, в нашем быту грязь, отсталость, свинство, малейшие остатки рабьего прошлого.

К десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции он пишет одну из замечательнейших своих поэм – «Хорошо!». В ней обнаруживаются новые качества развернувшегося таланта Маяковского. Это поэма о победившей революции, об утверждении нового, радостного бытия человека. В ритме каждой ее строки отдаются удары большого, полновесного сердца гражданина, влюбленного в свою Родину, восторженно гордящегося ею.

Необычайное разнообразие оттенков, приемов, ритмов применяет в поэме Маяковский. Здесь и широко написанная величественная картина Октябрьских боев, и жгучая политическая сатира, и мастерски рассказанная хроника иервого десятилетия Октября, и деревенская частушка, и от самого сердца идущие, любое сердце пронимающие лирические строки о любимой, о щепотке простой соли в голодные годы, о синем

шелке неба, о земле, с которой «вдвоем голодал» и которую «нельзя никогда забыть».

Поэма заканчивается светлой и звенящей от радостного напряжения песней о Родине и счастье.

Заключительные простые и торжественные слова поэмы заучены наизусть миллионами людей. Строки эти славят молодость нашей страны, в которой каждый может лет до ста расти без старости и творить, выдумывать, пробовать.

В этих строках, в их монументальном ритме ясно слышится победная и широкая поступь грядущего.

Маяковский читает поэму в Политехническом музее.

Большая аудитория музея переполнена. Молодежь встречает поэму восторженно, салютуя ей частыми залпами оваций. Маяковский читает заключительные строки одной из глав поэмы, напоминающие о том, как в годы интервенции мы стояли среди враждебного мира, на островке, голодные, нищие, но

…с Лениным в башке
и с наганом в руке.

И вдруг какой-то молодой красноармеец, привстав со своего места, кричит:

– И с вашими стихами в сердце, товарищ Маяковский!

Первый раз в жизни не знает Маяковский, как ответить… Не часто в этой аудитории, куда обычно на его вечера стекаются обиженные противники, все еще норовящие как-нибудь насолить поэту, приходится слышать ему такую открытую и высокую похвалу. Шутка ли сказать, какую смелую и желанную для поэта оценку дал его стихам этот молоденький красноармеец, порывисто вскочивший на галерке!.. «И с вашими стихами в сердце…» Видно, хотел напомнить всем, что в самые трудные для страны годы народ шел в бой «с Лениным в башке и с наганом в руке» и со стихами Маяковского, взятыми на вооружение.

Я вижу, как подавляет в себе волнение Владимир Владимирович. Некоторое время он молчит, все более и более светлея лицом. Потом всматривается в зал благодарными усталыми глазами, находит там наверху того, кто крикнул. Очень серьезно и с таким доверием, как бы протягивая через зал руку за поддержкой, он говорит:

– Спасибо, товарищ…

Маяковский сам сознает, что обязан газетной работе успехом своей новой поэмы. Чтоб подняться до ее превосходных и широких обобщений, требуется умение в каждой узкой теме

находить зерна больших идей.

Маяковский в своих газетных стихах и фельетонах крепко связывает злобу дня и мечтательную смелость заглядов в будущее. В юмористическом стихотворении о неработающем лифте он умеет поставить будничную тему так, что стихотворение сразу наполняется духом большого времени.

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губой
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

Каждое, даже самое мелкое стихотворение Маяковского, каждое выступление его – это не пустая хвала, а утверждение революции, не добродушное осмеяние врагов, а беспощадное уничтожение их. И он зовет молодежь, весь советский народ неусыпно следить, чтобы враги не нарушили нашу дружбу, стройку и рост.

Кому только не попадает в его стихах! Кого только не гвоздит он своими строками! Бюрократы, мертвые души, хулиганы, антисемиты, пошляки, разгильдяи, воры, политические недоросли, себялюбцы, прихлебалы, сплетники, подлизы, скопидомы, помпадуры, трусы, казнокрады, псевдоученые, сектанты, хамы, взяточники, болоночьи лирики – все эти обреченные на вымирание в будущем людишки испытывают на своих боках тяжелые удары сатирических, негодующих стихов Маяковского. Он разделывается с ними и в стихах, и в прозе, и в своих выступлениях перед читателем, и в пьесах.

Он пишет две пьесы: «Клоп» и «Баня». Он любит в своих сатирических вещах сталкивать людей будущего с современными обывателями.

На фоне будущего, уже очищенного от всего скверного, что нам осталось в наследство от старых лет, с особой неприглядностью видишь обличье некоторых наших современников.

В пьесе «Клоп» Маяковский переносит в будущее обывателя наших дней.

В последнем своем произведении для театра – «Баня» – он сталкивает наших современников с «фосфорической женщиной», явившейся на машине времени к нам из будущего.

Проблема времени, возможность приблизить будущее давно уже занимает Маяковского. Еще весной 1922 года, услышав о теории относительности Эйнштейна, пораженный переменами, которые произведены в научных взглядах на время и пространство, Маяковский задумчиво говорит своему собеседнику:

– А вдруг так будет завоевано бессмертие?! Вдруг смерти не будет? А я совершенно убежден, что будут воскрешать мертвых. Я обязательно найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому физику академический паек платить за это буду.

Он даже собирается послать Эйнштейну приветственную телеграмму: «От искусства будущего – науке будущего».

И в заключительной части своей поэмы «Про это», написанной в виде прошения ученому грядущего века, он кричит:

Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
. . .
Воскреси —
свое дожить хочу!

Маяковский – мечтптель. Он подлинный мечтатель, в самом лучшем, ленинском понимании этого слова. Его любовь к человеку будующего, наследнику наших дел, – это не беспочвенная восторженная утопия, не увлечение фантаста. Это уверенность бойца, берущего точный прицел, хорошо осмотревшего высоты, которыми надо овладеть.

Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, – комсомол!
За хвост его, – пионер!

Но, жадно всматриваясь в будущее, именем его громя сегодняшние недостатки, Маяковский с любовью отыскивает черты этого будущего в лучших людях нашего времени. Он находит их и воспевает в гигантском образе Ленина, в «солдатах Дзержинского», в «строителях Кузнецкстроя»:

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

Маяковский живет

Пусть, науськанные современниками,
пишут глупые историки: «Скушной
неинтересной жизнью жил
замечательный поэт».

Грохая тростью в асфальт, легко обгоняя попутных, круто обходя встречных, неся широкие плечи над головами прохожих, шагает Маяковский по Москве – твердо и размашисто. За ним в толпе завиваются воронки, как в воде за пароходом. Все оборачиваются, смотрят ему вслед. Одни узнают: «Маяковский прошел», взоры других увлекает за собой необыкновенность, широта и прямизна этой поступи.

Он шагает по Москве. Он уже стал частью Москвы. Его голос уже влит в грохот столицы. Его походка стала чертой уличного движения. Нельзя, кажется, представить себе Москву без него. Стук его трости, шаг его, пологий покат плеч, плывущих над головами, навсегда запомнит Москва.

Он идет, не поворачивая головы, но из-под тяжелых бровей глаз пронзительно и цепко, как гарпун, вонзается и в поваленную урну на заплеванном тротуаре, и в самолет, плывущий по небу, где

…соколы —
сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.

Ему до всего есть дело. Все трогает его, все волнует, все его касается. Моя революция. Моя Москва. Моя милиция. Мой Моссовет.

Новый дом строится за сквером, где играют дети. Рабфаковцы, вотяки и черкесы, сидят возле университетской решетки под чугунными глобусами. Ломоносов смотрит на них с пьедестала.

– Что делается! – бормочет Маяковский про себя.– Что делается! Это уже социализм!

Молодежь толчется у витрин книжного магазина. Книги Маяковского выставлены среди других.

«Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я. Это мой труд вливается в труд моей республики».

Огромные «крикогубые» буквы афиш извещают о предстоящем вечере поэта в Политехническом. «Хорошо!» – орут афиши. Москва привыкла к его афишам, к его стихам, вобрала их в свой пейзаж. «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Лучше сосок не было и нет! Готов сосать до старости лет», «От игр от этих стихают дети. Без этих игр ребенок тигр»…

В киосках продают журнал. В нем ругательные статьи, карикатура: большеротый верзила, нахально прущий поперек литературы. Маяковский комкает журнал, запихивает его на ходу в карман просторного пальто. Потом останавливается на бульваре, опирается сзади на трость, скрестив ноги; вынимает журнал, читает брезгливо:

– Хамская статья! Опять надо объяснять все сначала. Ни черта не поняли!

Разом помрачневший, судорожно зажав уголком рта потухшую папиросу, волочит он по бульвару тяжелую обиду.

Не многие знают, как мало надо, чтобы обидеть его. «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется».

Только друзья знают, сколько ласки и тепла в этом большом человеке, который скрывает за сверкающими доспехами остроумия очень легко ранимое сердце и мрачнеет от каждого примеченного им свинства, а от похвалы и внимания мякнет, конфузится.

Он живет взволнованно, азартно, умея собственной рукой щупать «бестелое слово политика».

У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди – любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.

В этом сердце нашлось место и солнцу, и реке, и стоверстым скалам. У него микрометрическое чутье к самой незаметной человеческой боли, к мельчайшим неполадкам в большой нашей жизни. Ему хочется, чтобы «вся на первый крик: товарищ! – оборачивалась земля». Что бы ни делал Маяковский, он делает от всего сердца. Оттого такой силой, таким чистым голосом наполнены его стихи, про что бы он ни говорил – про мировую революцию или про новую ванну в квартире рабочего Козырева. Его гнев и радость совпадают с негодованием и восторгом всего

лучшего, передового, что живет в стране. Он все время рвется вперед, перешагивает через себя…

Перемахивая через три ступеньки, взбегает он по крутой лестнице редакции «Комсомольской правды».

Его встречают как своего, шумно и почтительно:

– Здравствуйте, Владимир Владимирович!

– Здравствуйте! – приветствует он встречающих, и его бас прокатывается по редакционному коридору.

Из всех дверей на голос этот выходят сотрудники. Машинистки выглядывают из своей комнаты.

– Как жизнь? Красиво ли идет жизнь? Довольны сегодня вы вашей жизнью? Какие Америки открыты за ночь? Сколько «Илиад» сочинили с утра? Что новенького? Много стихов наволокли? А я вам принес свежее, не свое. Давайте сюда, слушайте – читаю.

И Маяковский, покачиваясь с каблука на носок, читает сгрудившимся вокруг него сотрудникам стихи никому не известного, где-то им разысканного автора:

И граждане и гражданки,
В том не видя мотовства,
Превращают елки в палки
В день святого рождества.

– Что? Здорово? Попробуйте лучше написать. «Превращают елки в палки»! Аж завидно самому! Вот вам его адрес. Разыщите, обласкайте и напечатайте. А то в свои соседи играете. Своих маститеньких печатаете, что поближе… А вчера вот один вечером… под рылом батистовая рубашка, галстук – «собачья радость» – до ушей. Заводская аудитория, только что с работы, а он читает: «Работать, работать, работать – отдых будет потом…» Экое безобразие, хамский тон! Так разговаривают буржуи, хозяева с рабочими: «Работайте, отдохнете после, в воскресенье». Мерси вашей маме за такую пропаганду! Треплют свысока усталых людей. Терпеть не могу первоначально накопляющих ужас до чего пролетарских поэтов! Кудерьки до плеч, морда пятаком!.. Возятся, бегают, на ухо шепчут. Представляются – руку жмут, завидуют. Думают, просто так: вот этот успел при стихах устроиться. Устроиться при стихах – вы только подумайте!.. Я напрягаюсь над строкой до слез, ночью просыпаюсь и ищу нужное слово. Плачу от удовольствия, когда строка наконец сомкнута. Когда нужное слово найдешь, словно коронка на зуб села – аж искры из глаз. А эти глупостью своей, дрянным качеством компрометируют доброе наше звание. Ничего. Выведутся вьюны. Я особенно благодарен

Советской республике за то, что в ней долго ужиться глупость не может.

Но тут деревенского обличья застенчивый парень, сварившись от смущения как рак, заглядывает в лицо поэту.

– А здорово вы меня, Владимир Владимирович, в Политехническом-то на вечере!.. Триолеты мои расчехвостили.

Маяковский удивленно переспрашивает:

– Как? Неужели триолетики – ваши?

– К несчастью, мои, – сокрушенно признается парень.

– Ну, не знал, – говорит Маяковский просто и словно извиняясь.– Просто не знал, что ваши триолетики, а то, конечно, я бы не стал говорить о них. Раз вы только приехали в Москву, на вас нападать еще рано. Вот обживетесь немного, и, если не исправитесь, тогда уж я вас раскрошу еще не так…

Он внимательно следит за тем, как нам, тогда еще молодым литераторам, работается, пишется, любится, читается.

Нет, он не черкает и не правит красным карандашом наши рукописи, не заставляет никого писать «лесенкой» по образу и подобию его собственных стихов.

Он не требует, чтобы молодые поэты мерили строки на его аршин, недолюбливая расторопных подражателей, прытко перенимающих манеру поэта, но не вникающих в самое существо работы революционного стиха.

Он прививает нам вкус точный, взыскательный, учит распознавать чужие настроения, неясные интонации в вещах, на первый взгляд звучащих очень романтично и завлекательно.

Однажды я читаю Маяковскому на память «Контрабандистов» Эдуарда Багрицкого. Я вообще люблю Багрицкого, а эти стихи мне очень тогда понравились своим яростно задыхающимся ритмом:

Ай, Черное море – вор на воре.

Я очень стараюсь читать как можно лучше. Маяковский терпеливо слушает, слегка наклонив голову и бросая на меня, когда я проявляю особое старание, короткий внимательный взгляд из-под бровей.

Когда я окончил, Владимир Владимирович как бы даже сочувственно спрашивает:

– Нравится?

– Очень.

– Гимназист, – говорит Маяковский, – боже ж мой, какой вы еще гимназист!

Я немножко обиделся:

– Почему это гимназист? Разве только гимназистам нравится Багрицкий?

– Слушайте ж, вы, – в голосе Маяковского гудят очень терпеливые и ласковые, убеждающие нотки, уходя вниз на самые басы, – поймите же ж вы!.. Гимназистам всегда нравились всякие эти флибустьеры и кондотьеры, вся эта завозная романтика на фейерверочном пшике. А все это уже описано до одури. И у Гумилева эти вещи даже лучше получались. Это не своя – настоящая, собственная – поэзия, не свой дом для поэта. Квартира с чужой экзотической обстановкой напрокат, меблирашки внаем. Неинтересно. Зря вам нравится. Я знаю эти стихи. Стихи для гимназистов.– Он цитирует:

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме…

Это, так сказать, мечта поэта, – иронически басит Маяковский и продолжает:

Иль правильней, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман…

Недурненькое сомненьице для советского поэта: не знает, с кем ему быть, с контрабандистами на шаланде или с пограничниками на дозорном катере. И вы что же, верите ему? Думаете, что на самом деле для Багрицкого еще неясно, где и с кем ему быть? У него же друзья чекисты! Он в Юго-Росте работал, в агитпоезде ездил. А это у него старая поза из «ХЛАМа». Было у них там на «Юго-Западе» эдакое заведение, что-то вроде кабака или театрика: Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты – ХЛАМ. Вот этот «хлам» он из своих стихов никак не выметет. Интересничает, а поэт талантливый! Может же писать! Вон как здорово у него в «Думе про Опанаса»!..

Маяковский встает, широко и плавно отводит руку в сторону, как бы очерчивая горизонт, и читает подобревшим голосом:

Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,

Дорогу степную.

Гимназистам не нравится, а вам пусть нравится именно этот Багрицкий.

Он радуется каждой удаче товарища, каждой свежей строке другого поэта. Подобно Архимеду, открывшему новый закон, он готов выскочить из ванны, найдя на обрывке газеты, в которую завернута губка, стихи неизвестного, но талантливого поэта. Он читает приглянувшиеся ему строки друзьям через дверь ванны. Он позвонит товарищам поэтам и прочтет им потом эти стихи по телефону.

Но и от грохота его гнева, от бодрящей, но крепкой встряски его шуток укрыться невозможно…

Однажды по просьбе и наущению редактора одного ведомственного малоизвестного журнала, ютившегося на Солянке и называвшегося как будто «За рыбо-мясо-хла-до-овощ» или вроде этого, я наспех написал очерк. Очерк получился откровенно плохой, так как я абсолютно ничего не понимал ни в рыбе, ни в мясе, ни в хладе, ни в овощах. Однако времени для того, чтобы переписать, уже не было. Я понес очерк в журнал, утешая себя по молодости лет тем, что этот журнал никто, кроме редактора и автора, по-видимому, не читает. На всякий случай я все-таки решил не подписываться полностью, а благоразумно укрылся за инициалами «Л. К.» Но вот через несколько дней после выхода журнала я иду по Таганской площади. А далеко на противоположной стороне вдруг замечаю Маяковского, шагающего навстречу. Вид у Владимира Владимировича такой, что у меня сразу пропадает всякая охота попадаться ему на глаза. Я делаю попытку отрулить за угол, но Маяковский уже приметил меня.

– Стой-те!!! – гремит он.

А голос у него такой, что останавливаюсь не только я. Замерли все, кто проезжал или проходил в ту минуту через площадь. Завизжали тормоза осаженных машин, посыпались искры из-под дуги застопоренного трамвая, и вожатый высунулся с площадки, чтобы узнать, в чем дело. Не обращая ни на кого внимания, Маяковский направляется через площадь ко мне.

– Боже ж мой, какую дрянь написал! – громогласно возвещает он на всю Таганку и ее окрестности, потрясая при этом поднятой над головой тростью.– Какая чистейшая халтура! И сам ведь знает, что халтуру накропал. Не подписался же полностью, а прикнопил две буковки, как к галошам, чтобы не спутали: «Лы-Ка… Лы-Ка…» А я из вас этого «лыка» понадергаю…

Вокруг меня уже собираются любопытные. Я стою растерянный, готовый провалиться сквозь тротуар, ожидая, что вот-вот под моими подошвами начнет плавиться асфальт. Стараюсь показать приближающемуся Маяковскому глазами, что неуместно меня бранить тут при всем народе…

– Он стесняется! – невозможным своим басом произносит Маяковский, показывая на меня в упор.– А что же вы в журнале не стеснялись? Тут всего человек десять – двенадцать, а там тираж десять тысяч. Вот там бы не мешало бы и постесняться.

Я совершенно посрамлен и убит. Но Маяковский подходит ко мне вплотную. Громадным своим плечом он отгораживает меня от всего публичного срама. Потом, как это он любил делать, сгибом локтя он легонько стискивает мою голову за затылком, слегка пригибая к себе, и говорит сверху, добродушно потупившись:

– Ну, бог с вами, Кассильчик… Идемте ко мне домой обедать. Я вас по дороге еще доругаю.

И мы идем с ним в Гендриков.

А когда идешь с ним рядом, видя возле его просторной тени, скользящей по брусчатке, свою тень, чувствуя на плече его руку, слушая, как он проборматывает про себя новые, еще не выкарабкавшиеся из воображения строки будущих стихов, – ничего больше не хочется… Только бы вот идти с ним рядом, чтобы гудел он около тебя, чтобы вел по тротуару и по жизни.

У Маяковского бешеная сила убежденности. Он воинственно принципиален. Работает с огромной, непрощающей требовательностью к себе, с жесточайшей бдительностью в искусстве. «Я чту искусство, наполняющее кассу, но стих, раструбливающий октябрьский гул, но стих, бьющий орудием класса, мы не продадим ни за какую деньгу». Всегда точно пригнанная, горячая, часто грубая, но всегда полная незаветренной новизны, всегда до пределов взволнованная строка, «нигде не бывшая в найме», живет в его статьях, лозунгах, шутках и поэмах.

Если он ненавидит, то уже со всего разгона. Если любит, то «душой, губами, костяком». Его любовь – это борьба за общее, «всехное» счастье. Он любит сам и любовью своей борется за силу и чистоту всех других Любовей. Для него любить – это значит работать, сражаться, вбежать во двор и, играя топором, до ночи рубить дрова, силой своей играючи.

Он хочет, «чтобы всей вселенной шла любовь». Он любит сильно и щедро. К женщинам он относится строго и чисто, с какой-то особой осторожностью, словно боится задеть, обидеть своим вечно бурным движением. Но он сердится, когда дешево и

умиленно восторгаются его необыкновенностью, масштабами его фигуры. Как-то он сосет конфету в перерыве после выступления. И какая-то девица – губы бантиком, – подлетев к нему, щебечет:

– Смотрите, как смешно: Маяковский, такой большой, й вдруг сосет такую маленькую конфеточку!

– А вы что же, хотите, чтоб я, по-вашему, тарелки глотал, столы жевал?!

Он шагает по Москве, все примечая, радуясь и негодуя, дивясь и тревожась.

– Сейчас я проходил мимо почты. И там написано: «Закрыто на ремонт». Закрыто – и все. Ну что стоило приписать еще хоть три слова, руки бы у него отсохли, что ли? Что, трудно написать: «Закрыто на ремонт, но ближайшее почтовое отделение находится здесь за углом, в доме номер такой-то…» Написали равнодушно «Закрыто на ремонт», и наплевать им на человека, который, может быть, принес заказное отправить матери… Или, может, целую ночь письмо девушке сочинял… Ведь это же просто хамство. И не только хамство. Страна становится грамотной. Писать письма – это новая культурная потребность. А тут – «закрыто на ремонт»! Как говорится, мордой об дверь… Вот вы бы написали об этом, а то хуже будет – я напишу и уж так разделаю! Придется его самого закрывать на ремонт.

Он нагоняет шагающий по улице красноармейский отряд, осматривает бойцов долгим, испытующим взглядом. «Идут краснозвездцы…» Он идет теперь по самому краю тротуара, стараясь попасть в ногу военному маршу.

Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.

Красивый, сильный, глубоко дышащий, движется он по московским улицам, сердится на купола Страстного монастыря, из-за которых Пушкину плохо видно новый дом «Известий». Заходит в Зоопарк посмотреть на разных «звериков». Он любит зверей. «Я зверье люблю… Пустите к зверю в сторожа». Во всех

письмах его шутливо и тепло говорится про разных «собаков и кошков».

«В Харькове заходил к Карелиным, – пишет он домой.– У них серая кошка подает лапку. Я глажу всех собаков и кошков. В Киеве в гостинице есть большая рыжая с белыми крапинками».

Он даже в телеграммах подписывается: «Щен». (От слова «щенок».)

Он идет по улице, любуется яйцеобразным матовым куполом планетария:

На земле
огней – до неба…
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не был,
я бы
стал бы
звездочетом.

Останавливается, заинтересованный, у первых вышек над будущими шахтами метро:

Что такое?! Елки-палки!
По Москве – землечерпалки.

. . .

Во Москве-реке карась
смотрит в дырочку сквозь грязь —
под землей быстрей налима
поезда шныряют мимо.

Он наклоняется над самой скважиной, заходит за ограждение, вынимает перед милиционером свой корреспондентский билет:

– Я писатель. Газетчик. Я все должен видеть. И опять, довольный, бормочет:

– Что делается, что делается! Это же социализм! Однажды ночью в жарком споре мы проглядели время.

И, опоздав на последний сегодняшний трамвай, решили уж

досидеться до первых завтрашних… Ночь быстро слиняла. Утро заскрежетало колесами первого трамвая. Ночь была исчерпана. Темы разговоров – тоже. Потушили электричество. Спор угасал сам. В комнате голубело. Маяковский поднялся с кресла, и мы двинулись домой.

Мы с Владимиром Владимировичем сели в вагон трамвая «Б». Трамвай был почти безлюден и казался необыкновенно просторным. Это был вагон нового типа, не так давно пущенный по Москве. Маяковский с любопытством оглядывал трамвай.

– Вагон какой-то странный, непривычный! – сказал он.– Или просто я днем, в давке, не обращаю внимания. Но, по-моему, я в первый раз на таком еду.

– Новая серия, – сообщила кондукторша, – устройство на новый манер. Вишь, потолок высокий – кумполом. И заместо висюлек ременных – скобы, чтобы держаться. И вообще свободнее старых.

Маяковский прошелся по вагону, увидел дощечку: «Коломенский завод. 1929».

– Вот здорово! – восхитился Маяковский.– Значит, уже не наследие какое-нибудь; сами можем уже такие трамваищи выпускать. Прямо роскошный трам. Очень здорово… А как вы думаете, сколько лет тянулась династия этих кожаных петель? Черт знает, наверное, сколько лет… А вот вам усовершенствование: скоба. Мелочь, а приятно.

Маяковский любовно трогал медные скобы, грузно, по-хозяйски прохаживался по вагону, мычал что-то про себя, заглядывал под скамейки, прислушивался к ходу, высовывался с площадки, чтобы осмотреть трамвай снаружи.

Кондукторша с явным осуждением смотрела на громадного человека, восторгавшегося таким будничным и неказистым явлением, как трамвай. По ее снисходительному лицу видно было, что она приняла Маяковского за ротозея из провинции.

Мы приближались к Таганке.

– А ну-ка, как он в гору? – заинтересованно проговорил Владимир Владимирович.

Трамвай легко взбежал на таганский холм. У Маяковского сошло напряжение с лица.

В Таганке мы сошли. Стоял встречный трамвай старого типа.

– Наш лучше! – весело сказал Маяковский.– Верно, приятно?

В другой раз, тоже ночью, когда мы вдвоем возвращаемся пешком из гостей, он вдруг останавливает меня, взяв сверху за плечо:

– Послушайте! Мы здесь с вами как-то проходили с месяц назад. Тут же ни черта похожего не было. Я помню, сколько дряни

всякой горами. А сейчас, глядите, уже три этажа вымахали! Пойдем узнаем, что это тут строится. Интересно же ж! Вон ночной сторож весь во власти дивных грез. Сейчас мы этого дядю вернем к полезной деятельности! Пусть не дрыхнет на народные деньги… Гражданин! Что это тут строят за вашей спиной? Вот мы с товарищем интересуемся. Школу?.. Видели? За какой-нибудь месяц и уже почти готова! Как научились! А? Слушайте, это же социализм! Честное даю вам слово… До свиданья, гражданин. Спасибо. Рекомендую бодрствовать.

До всего ему дело. Он живет всеми интересами страны и мира, весь нацеленный в будущее, к которому рвется безудержно, напролом, шагая так, чтобы «брюки трещали в шагу» и к прошлому относило лишь «путаницу волос».

Иногда, вернувшись под утро после ночного дежурства из редакции, я, едва войдя к себе домой, уже в передней слышу телефонный звонок и узнаю в снятой трубке неповторимый бас:

– Это Маяковский. Не легли еще? Звонил вам в редакцию, сказали, что вы уже отбыли… Слушайте, как там в моем Париже муниципальные выборы? Коммунисты хорошо прошли? Очень интересуюсь… Так. Очень хорошо.

Спасибо. Ну, теперь можно и спать. Устали? Я – зверски. Работал.

Вот о чем он думает, когда ему не спится в рассветный час, вот где его мысли. Вот он каков сам – Маяковский.

А литературные специалисты не понимают, как он может свое исполинское дарование переключать на обслуживание мелких, календарных, трамвайно-водопроводных тем. Но его действительно вдохновляет и новый советский трамвай и ванна в новом рабочем жилище. Ему хочется, чтобы рабочий, влезая в чистую рубаху или в новый трамвай, признавал:

Влажу и думаю:
– Очень правильная
эта,
наша,
советская власть.

Ему ненавистно наималейшее проявление бюрократического чванства, казенного равнодушия к людям.

Как-то раз он остановил на улице свободное такси, чтобы ехать домой. Он открыл уже дверцу и характерным жестом, обеими руками берясь за машину, наклонившись, большой, стал как бы нахлобучивать всю машину на себя, надевая через голову, – так нам всегда казалось, когда он влезал в маленький

автомобиль…

Вдруг двое молодых людей развязно и категорически потребовали предоставить машину им. Узнав Маяковского, они влезли в лимузин, стали скандалить и для большей убедительности принялись размахивать какими-то «ответственными удостоверениями». Это и взорвало Маяковского, у которого к мандатам никогда почтения не было.

– Я бы охотно уступил им машину, – рассказывал он потом, – черт с ними! Как вдруг они бумажкой этой начали бряцать… Мандаты там какие-то… Понимаете? Раздобыл какую-то бумажку с печатью и уже опьянен ее властью. Подумаешь, ордер на мир! Особый бюрократический алкоголь. От бумажки пьян. Ему уже бумажкой человека убить хочется. Ах, до чего ж я ненавижу эту дрянь!.. Я их пустил в машину. «Садитесь, говорю, пожалуйста». Сели. Нагло сели. Я и отвез их в милицию.

Хватким взглядом публициста он успевает заметить каждую яму в «мясницком масштабе». Он одинаково ненавидит мелкие рытвины и глубокие ямы, замедляющие ход истории. Жирная морда спекулянта, уличное хамство, пошлятина в искусстве – все это бесит и удручает его.

Каждый новый дом, каждый вновь спущенный советский пароход, рабочая фотовыставка для него праздник.

– Что делается! Это уже социализм!

Он идет сквозь шум движений, в солнечных отблесках витрин, ровным, упругим шагом пересекая улицы.

Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят наземь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.

Он идет, а за ним, подглядывая из-за угла, волочится сплетня, гогочет, вприпрыжку подскакивает анекдот:

– Маяковский… Сегодня в одной редакции ему денег не заплатили, так он три стола в щепки разбил, кассира на чердак

загнал. А вчера, говорят, памятник Пушкина подпилить хотел!..

Он даже не обирает с себя где-то там за ушами, за затылком налипающую паутину. Он шагает, бормоча еще не совсем вылупившиеся строки новых задуманных стихов. Он идет неторопливо, но стремительно и уверенно туда, где его ждут, где он очень нужен, где знают, что Владимир Владимирович Маяковский не только «агитатор, горлан, главарь», но верный друг, нежный, скромный и застенчивый, человек непотухающей внутренней теплоты.

Круто завернув, он входит в теснину одного из переулков Замоскворечья. И москворецкие мальчишки, сразу заприметив, что идёт по их улице настоящий великан, кричат ему вдогонку, как кричат обычно всем очень высоким людям:

– Дяденька, достань воробушка!

Маяковский разом останавливается и, глядя, полуобернувшись, через плечо сверху на ребят, с вежливой улыбкой, чуточку склоняясь, осведомляется:

– А орла не хотите?

Опешили мальчишки.

А мне видится в этой походя брошенной шутке весь Маяковский: и его уважительный интерес хотя бы и к самому маленькому представителю людей, и его богатырская повадка в обращении с гиперболой, сразу неожиданно раскрывающей разговор в глубину, и его готовность по первому зову, если уж влезать на небо, сделать близким всем – и большим и маленьким – не чирикающего воробушка, а идеи, образы, мысли орлиного полета.

Две серьезные девочки расчертили тротуар «классами» и, прыгая на одной ноге, гоняют из клетки в клетку, носком подталкивая, камешек-кремешок. Вдруг большая размашистая тень покрывает все классы. Девочки от неожиданности становятся на обе ноги, но большие ботинки на мягкой каучуковой подошве осторожно ступают прямо из первого класса в последний и бережно обходят кремешок, чтобы не сбить его в «огонь». Гогочет где-то над головами бас: «Ну, гожусь я в классики?» И рука высокого прохожего мягко скользит по макушке одной из девочек.

Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
«Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете?
Как животик?»

Какую строгую и понимающую ребят любовь несет в себе этот суровый на вид саженный человек, придумавший чудесные строчки о «плоховатом мальчике» и о «тучкиных штучках». Только врагам, противникам и просто близоруким людям, которых испугал клепальный лязг его стихов, площадная широта его повадок, только перепуганным и недалеким кажется, что он паглый грубиян, несокрушимо уверенный в себе. И он сам пользуется этой басней, как оружием и броней. А «за рыком, за ростом» живет болезненно восприимчивый, очень незащищенный, в сущности, человек огромной и тончайшей души.

И люди, хоть раз в жизни познавшие медленную, неуклюжую ласку его руки на своей голове, уже никогда не забудут ее.

– Слушайте, я вам намазал роскошнейшие бутербродищи, а вы ни черта не жрете.

– А вы сами?

– У меня рот занят. Я занимаю вас интересным разговором. А у вас рот уже полчаса раскрыт совершенно непроизводительно. Я вас прошу, пихайте туда масло, ешьте масло, все время ешьте масло, вам необходимо есть масло. Смотрите, какой вы худой стали. Если вы так будете дальше истончаться, скоро надо будет заходить на вас сбоку, чтобы посмотреть. Прямо, спереди, уже ничего не увидишь. Может, денег надо?.. Деньги есть?

Он хорошо знает, какое место им занято в литературе. Но даже и славу свою он приносит людям для того, чтобы им было чище, просторнее, светлее жить.

…Вот он поднимается в переполненное публикой фойе кинотеатра «Ша Нуар» на углу Страстной площади. Я стою в другом конце зала, разговаривая со своей спутницей. Мы только что виделись с Маяковским у него дома за обедом. Вдруг я вижу, как Владимир Владимирович, раздвигая толпу, проходит ко мне через весь зал, из конца в конец. Он приближается к нам. Он почтительно приподнимает шляпу и, медленно поклонившись, крепко пожимает мне руку. Я с удивлением смотрю на него. Не понимаю, что это значит. Мы только что виделись с ним в Гендриковом… Но Маяковский круто повернулся, загородив от нас ползала широкой своей спиной, и удаляется сквозь толщу толпы.

Спрашиваю на другой день:

– Владимир Владимирович, вы что-нибудь хотели мне сказать вчера в кино и потом раздумали? Вы так торжественно поздоровались…

– Ничего я не собирался говорить, – строго басит Маяковский.– Просто мне хотелось, чтобы вашей девушке было приятно, что с вами сам Маяковский так здоровается.

Влюбляется ли он или ссорится, пишет стихи или играет в бильярд, покер и ма-джонг – он входит в это занятие всем своим раскаленным нутром. Ему неважно, играют ли на деньги, или на услуги, или «на пролаз», когда проигравший обязан с куском орехового торта в зубах проползти под бильярдным столом… Ему дорог самый азарт игры, ее кипяток, ее нерв и риск. Сняв пиджак, засунув большой палец одной руки в пройму жилета, он другой крепко ставит кости на стол, и четыре ветра ма-джонга скрещиваются над его головой.

Он ставит на что угодно: на номер извозчика – делится на три или не делится? Загадывает, четный или нечетный подойдет номер трамвая. Однажды в Париже он проиграл весь город…

У него был составлен целый план повторных экскурсий по Парижу. Но в последний день с утра ему не везло в игре. Времени для того, чтобы отыграться, оставалось немного. Он поставил на карту Париж. Сперва он проиграл Большую Оперу, потом Лувр, потом Версаль и, наконец, Эйфелеву башню. Времени осталось только, чтобы поспеть на непроигранный вокзал.

Долг проигрыша он считает священным и, продувшись вконец «на услуги», безропотно подчиняется капризу удачника: терпеливо кипятит ему чай, таскает за ним по саду стулья…

А однажды, как того требует выигравший, напевая песенку тореадора, торжественно и беспрекословно приводит во двор, ухватив за рога, чужую корову… И он выполняет все это с таким снисходительным великолепием, не допускающим насмешки или сожаления, что сам победитель, заказавший эту «услугу», чувствует себя через минуту позорно проигравшим.

Вечером, усталый, он сидит за столом и, заслонясь от всех газетой, одиноко грустит о чем-то. Он жует папиросу, отчужденно молчит. Днем он недоругался с противниками. Сотнями мелких тупых уколов обидела его очередная ругательская статья в критическом журнале.

Поздний вечер. Гендриков переулок полнится окраинной скукой. И вдруг под самыми окнами, под открытой форточкой – молодые голоса… Видно, рабфаковцы возвращаются домой. Мгновенная тишина – и голоса, похожие на те, что описаны в его «Кемп «Нит гедайге», дружным хором отмеривают под окном, по-своему переиначив, строки «Левого марша»:

Проулок, мощенный славой!
Запомните адрес все вы…
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!

Левой!

Маяковский поднимает голову над газетой и прислушивается. Он быстро встает и подходит к окну, вглядывается, прислонившись лбом к стеклу, в темноту.

Когда он обернулся, папироса уже поползла к уху – большая, долгая, счастливая улыбка…

– Жизнь прекрасна и удивительна!

«Из зева до звезд»

Год 1927-й или 1928-й… Москва увлекается радио. Решетчатый гиперболоид башни на Шаболовке привлекает теперь взоры и слух сотен тысяч людей. На улицах, в трамваях говорят о детекторах, конденсаторах, вариометрах. У магазинов на Кузнецком мосту, на Мясницкой и Никольской, где торгуют электроприборами и радиопринадлежностями, с утра до вечера толкутся любители. С ухватками голубятников они вытаскивают из-под полы маленькие самодельные приемники. На крышах всходит целая заросль антенн, любители закидывают свои удочки в эфир, вылавливая желанные сигналы.

Но радиовещание наше переживает лишь младенческий период. Концерты бывают редко. Однако люди с восторгом слушают у себя на квартире, припав к наушникам, метеосводки или медлительный диктант ТАСС, передающего информации для газет. Людей трогает и умиляет уже сам факт: они слышат, и им неважно, что они слышат. С непривычки они еще говорят шепотом. Им кажется, что их тоже могут услышать там, на радиостанции.

Тесные московские квартиры становятся как будто просторнее. Их теперь запросто посещают голоса знаменитых людей, в частное жилье открыт доступ отзвукам всехсветных событий.

То в Москве,
а то
в Ленинграде я.
То
на полюсе,
а то
в Лондоне.
Очень приятное это —
р-а-д-и-о!

Маяковский, повидавший немало радиочудес во время своих поездок по миру, с завистью рассказывавший о них, теперь жадно следит за тем, как развивается радио у нас. Его захватывает возможность сделать голос поэта еще дальнобойнее – всепроникающим, повсеместным. Он ревниво и заботливо прислушивается, как растет мощность наших радиостанций, как очищается от акустического мусора их тон. С великой охотой и

гордостью одним из первых принимает он приглашение выступить по радио, прочесть у микрофона свои стихи, попробовать свой голос в эфире.

Его ждут в радиостудии на Тверской. В маленькой студии, похожей на туалетную шкатулку, целиком задрапированной, с мягкими полами, стенами и потолком, он бесшумно шагает к столику, над которым на проволочных спиральках, похожий на большого паука, подрагивает микрофон.

– А много там народу? – шутливо спрашивает Маяковский, кивнув на микрофон.

– Весь мир, – отвечает торжественно настроенный радиоредактор.

– Ну, мне больше и не надо.

Маяковский раскладывает на столе перед микрофоном листочки с новыми стихами. Он написал специальные стихи для радио. Разве можно окунуться в эфир со стихами, уже выкупанными в другой аудитории?

– Алло! Говорит Москва. Перед микрофоном поэт Владимир Владимирович Маяковский, – объявляет диктор.

И тысячи радиолюбителей нашаривают волоском детектора самую чувствительную точку на камне, чтобы ни один звук не потерялся по дороге к приемнику.

Голос Маяковского, которому всегда было тесно в самом вместительном зале, сегодня, отрастив новые крылья, взвивается «из зева до звезд».

– Читаю новые стихи: «Счастье искусств».

Бедный,
бедный Пушкин!
Великосветской тиной
дамам
в холеные ушки
читал
стихи
для гостиной.
Жаль —
губы.
Дам
да вон!
Да в губы
ему бы
да микрофон!

Голос Маяковского обжился в эфире. Просторно

раскатывается он над Москвой, отдаваясь в тысячах наушников, в сотнях рупоров. Широкая усмешка его губ распяливается от горизонта до горизонта. Поэт добродушно жалеет Мусоргского, которому тоже, должно быть, было тесно для его звуков:

…концертный зал
да обеденный
обойдут —
и ни метра дальше.

Маяковский сокрушается, что слишком тих был не подхваченный радио голос Герцена:

По радио
колокол-сердце
расплескивать бы
ему
по России!

Гордо, торжественно, как победитель пространств и времен, дорвавшись до всех углов, непреоборимо наступает голос Маяковского:

Во все
всехсветные лона
и песня
и лозунг текут.
Мы
близки
ушам миллионов —
бразильцу
и эскимосу,
испанцу
и вотяку.

Как дредноут, несется по радиоволнам бронебойный голос… Приходится немного расстроить приемник чуточку в сторону от волны, чтобы укоротить этот бас, рвущийся в уши.

Но тут как будто происходит маленькая заминка. Радиолюбители слышат какие-то невнятные переговоры, шепот, треск… Но снова, заполняя весь эфир до отказа, звучит Маяковский:

Долой
салонов жилье!
Наш день
прекрасней, чем небыль…

Слушают, стиснув железными скобками наушников свои головы, радиолюбители. Собралась молодежь у громкоговорителей в клубах. Возмущенные неуважением к классикам, выключают приемники ценители изящной словесности.

Но неистребимый голос прет через стену их соседней квартиры, и никто не подозревает, что происходит в эту минуту в маленькой студии…

Неосторожный фотограф, снимая Маяковского, переложил магния в свой заряд. От вспышки загорелась матерчатая обивка стены. Огонь быстро расползается. Кто-то кинулся за огнетушителем. Диктор уже подбегает выключить микрофон. Но Маяковский отстраняет его жестом. Вонючий дым обволакивает микрофон, и огонь подползает все ближе…

С иронической вежливостью отодвинувшись от жара, досадливо отмахнувшись от диктора, который все пытается прервать передачу и вывести поэта из загоревшейся студии («Слеза из глаз у самого – жара с ума сводила…»), Маяковский продолжает читать…

Так же ясен и огромен этот ломящийся сквозь все препоны голос.

Хлеща пеногонной струей по горящей материи, суетятся работники студии. Кем-то задетая, срывается электропроводка, тухнет свет. Некоторое время еще тлеет содранная со стены материя, потом и она гаснет шипя.

Полная тьма в студии. Дым и тьма.

Но, пробивая потемки, через микрофон в страну идет голос:

Я счастлив,
что мы
живем
в дни
распеваний по небу.

Маяковский в большом

Дверь в Гендриковом обита изнутри железом. Когда открываешь ее, она слегка погромыхивает. А временами кажется, что все здесь в квартире покрыто листовым железом, по которому с маху бьют тяжелой кувалдой. Это Маяковский сердится. Голос, привыкший себя чувствовать дома на площади, здесь стеснен, зажат стенами. Отбываются стекла окон, дрожь пробирает стаканы в буфете.

– Не понимают! Ни черта не понимают! Не хотят понять. Дураки или мерзавцы? Или то и другое?.. До чего ж им хочется меня отжать в сторону!

Еще не успокоилась, качается только что наброшенная на рычажок трубка. Был крепкий разговор по телефону. Кто-то уже с утра сводил литературные счеты.

Утром Москва рвется в телефонную трубку.

– 2-35-79!..

Звонят из редакции. Просят приехать на завод. Заказывают плакаты. Друзья читают удачные строки, написанные ночью, и горестно подсчитывают, сколько должны за вчерашний проигрыш. Журналисты сообщают новости со всего мира – новости, которые не поспели в газету. А ему не терпится узнать, что нового на «земшаре». Скоро позвонит знакомая, с которой они пойдут в кино. Усердно названивают недоругавшиеся вчера противники.

Телефон висит в узком простенке между окном и дверью из столовой в комнату Маяковского.

Маяковский встает на звонок и левой рукой еще издали крепко берет трубку. Так берутся за ручку на окне, чтобы распахнуть рамы, открывающиеся внутрь. Шнур у трубки длинный. Можно, держа трубку у уха, пройти в дверь. И Маяковский крупно и мягко шагает из своей комнаты в столовую и обратно по дуге, радиус которой – шнур.

Так он расхаживает по этому полукругу своей упрямой и упругой походкой, круто заводя плечо на повороте. Пучеглазая Булька, похожая на маленького идола, следит за ним, посапывая на своем диванчике.

Вот звонок, которого он ждал. И уже совсем в другом регистре бархатно рокочет его бас.

– «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, – говорит он, прохаживаясь возле самого аппарата.– Идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит».

Потом, выслушав что-то, он разом мрачнеет. Он начинает ходить быстрее, натягивает шнур до отказа, словно рвется с

привязи.

Только что повешена трубка, и снова звонок. Звонят из «Комсомольской правды». Теперь он ходит весело, размахивая свободной рукой. Азартная улыбка сдвинула папиросу далеко вбок. Уже не кажется привязью телефонный шнур, по которому прошел силовой ток, приведший в движение этого только что угрюмого, осевшего человека.

– Очень здорово, что позвонили! – радушно говорит он, скосив в трубку свой большой горячий глаз.– Просто спасибо, что позвонили. А я только что со всем миром переругался. Завалились хламьем и ушей не продуют. Ничего, я еще им перепонки поскребу! А стих дам завтра же. Тема вполне роскошная, сама в строку лезет.

Скрипят по снегу сани в тихом Гендриковом переулке. Январский снег лежит на деревьях во дворе. Тихо и глухо. Трамвайный лязг и базарный шум Таганки не доходят сюда.

Погромыхивает железом входная дверь. Приносят ворох газет, журналы: «Крокодил», «Строим», «Огонек».

30-й год. Январь.

И вот опять звонит телефон. Маяковский берет трубку. Он смотрит вдруг на нас глазами очень серьезными и загоревшимися.

– Да, – говорит он в трубку.– Хорошо. Буду.

Его приглашают выступить на торжественном траурном заседании в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина.

– Буду читать в Большом, – повторяет он торжественно, – «Ленина» буду читать. Это для меня большое дело. Все-таки, значит, пробил кое-где стену. В Большой зовут. На Ленинский вечер. Буду читать как зверь. Политбюро будет. Коминтерн.

Он останавливается. Потом идет в свою комнату. Оборачивается в дверях:

– Пожалуй, самое ответственное выступление в моей жизни!

Через несколько дней я застаю его утром, еще до завтрака. Телефон звонит, но он не подходит.

– Скажите, занят. Пусть потом.

В больших мягких ночных туфлях он расхаживает по своей комнате и по столовой, отводя широкие плечи от косяков, длинными галсами лавируя между стульями. На нем легкая пижама. Она коротка и тесна ему. Он то и дело шутливо одергивает ее сзади и спереди.

– Мелкота эти шантеклеры парижские, кургузая публика, воробейчиковы масштабы! Не могут сочинить штаны подходящего калибра. Вот, привез из Парижа, а в нее ничего не влазит. Центр прикроешь – периферия открывается, на периферию натянешь –

центр виден. Черт их знает, на кого шьют!;

На выдвинутой доске стола-бюро лежит его рабочий блокнот и рядом – вечная ручка. На листке знакомой лесенкой расположились недописанные строки. Это пишется стихотворение для ленинского номера «Комсомольской правды». Но сейчас он занят другим. Заложив двумя пальцами страницы, захлопнув книгу и держа ее в согнутой руке на весу, он расхаживает по комнате, вполголоса читая своего «Ленина».

Он, всегда знающий собственные стихи наизусть, помнящий сотни чужих строк и ревниво поправляющий товарища, когда тот неверно читает свое, он сейчас ходит и, как школьник перед экзаменом, еще и еще раз повторяет знакомые строки, чтобы затвердить их покрепче.

– Никогда не учил, а вот сейчас зубрю как проклятый. Волнуюсь. Хочется здорово прочесть. Ужасно хочется здорово прочесть. Почетное же ж выступление!

21 января 1930 года. Большой театр.

Кончился перерыв после официальной части торжественного траурного заседания. Сила и слава столицы, стекаясь из коридоров, занимает снова свои места.

Стихает.

Тишина из партера восходит по полукружиям ярусов. В оркестре перепиликиваются скрипки, сбегает по ступеням гаммы труба. Над рампой зажигается зарево. Занавес уходит вверх, и вышедший из-под него человек объявляет:

– Слово имеет поэт Владимир Маяковский.

Аплодисментами приветствуют сперва имя, а потом и самого поэта. Он выходит на сцену в просторном темно-сером крупного зерна костюме. Даже здесь, перед шестью ярусами гигантского зала, среди мыогоаршинных сукон, нависающих, как сталактиты, в огромном зеве сцены, он кажется таким же крупным, не поддающимся никаким уменьшениям. Сразу все чувствуют, что он пришелся тут к месту, что масштабы зала и сцены, размах ярусов, глубина потолка ему по плечу. Он выходит к самому краю сцены, может быть даже слишком к краю, и свет, идущий с ним, резко выделяет на его лице могучий рот и подбородок. Одному ему присущей повадкой, из-под неподвижных бровей, он круто обводит зал своими большими глазами, всех забирая в один горячий глазоохват. Слегка откинувшись назад, прочно утвердившись на чуть расставленных ногах, он медленно разжимает сильные губы.

– Читаю последнюю часть из моей поэмы «Владимир Ильич Ленин».

И вот, едва не колыхнув красного бархата занавесей, словно

разгибает подкову зала не слыханный никогда здесь голос:

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозеи.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!

И зал замирает, предчувствуя, что сейчас будут сказаны слова ужасающей силы. Сейчас этот высокий громо-голосый человек вернет всех к боли и горю, которые еще не зажили за эти шесть лет.

Потолок
на нас
пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
еще нагни!

Люди в зале пригибают головы, на которые легла чугунная тяжесть вскрывшегося в стихах горя.

Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.

Вот эти самые люстры. Их пригасила тогда страшная весть. Здесь, в этом же самом зале, на съезде Советов прозвучали эти слова:

– Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!

Тяжелый, приглушенный вздох двух тысяч людей словно распирает ребра-ярусы высокого зала.

В улицы

и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.

Все вернулось. И этот черный день, когда «стариками рассерьезничались дети и как дети плакали седобородые», и мороз того дня, и молчаливые, в дыму тяжелого дыхания очереди у Дома союзов, и бедой нависшее январское мглистое небо.

Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое знамя
вышило,
задумано им
и велено им.
. .
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят —
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.

И столько надежды, полновесной веры в голосе Маяковского, что одновременно и в партере и во всех ярусах – легкое шевеление, словно люди, поверив в силу этой невозможной жертвы, готовы ринуться с мест. Но голос Маяковского звучит вдруг глухо и безжалостно, сойдя на низы, где уже нет ничего, кроме бездонной правды непоправимого:

Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.

Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человечьего —
неси
и казнись
тоской человечьей.

В Большом театре тихо так, как было тихо в Колонном зале тогда, в январские дни, шесть лет тому назад. Слышно лишь легкое сипенье прожектора, в луче которого стоит поэт.

Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».

Печально и сурово произносит поэт знакомые строки этой песни, которую певал и Ленин. И кажется, что из горя нет выхода, что полукруг ярусов сейчас сомкнётся кольцом – и не выбраться, не оправиться…

Но вдруг снова крепнет, мужает, раздавая вширь стены, голос Маяковского:

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься

великому чувству
по имени —
класс!

Он заставляет каждого чувствовать себя этой частицей – участником истории. Торжественное сознание единства заставляет всех в зале воспрянуть. Наступает момент великолепного перелома, и голос Маяковского с низов горя вдруг одним страшным рывком восходит на вершины, с которых виден весь мир. Четыреста тысяч новых коммунистов идут заполнять собой брешь в рядах. Подымают якоря, по сигналу срываясь с причалов, уходя в море, боевые корабли. Зарываются в свинцовые глубины «подводные кроты». Всем знакомая наизусть, столько раз певавшаяся на улицах, мечтательная и неукротимая, звенит вдруг песня на весь зал Большого театра:

По морям,
по морям,
нынче здесь,
завтра там.

Маяковский делает широкий шаг вперед. Он теперь на самом краю, на обрыве сцены. Он выпрямляется, словно сам сейчас, как взрыв, ударил из-под земли.

Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!

Высоко поднята над головой рука. Раскрыта ладонь. Широко растопырены пять пальцев. Маяковский как бы упирается в воздух перед собой. И – ладонью книзу – с высоты замаха рушит на Европу свой вывод:

Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичева смерть.

С такой победительной искренностью, с таким непреклонным убеждением читает Маяковский заключительные строки поэмы:

Да здравствует революция,
радостная и скорая!

Так верит он в людей, сидящих в зале, такой он им друг, что и там, в партере, в ложах, все невольно подаются вперед, навстречу этому ураганному голосу, и невольно приподнимаются.

Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

А зал уже стоит, и овация летит по залу в слитом грохоте ладоней. «Как будто жесть в ладонях мнут. Оваций сила» растет и растет.

Маяковский стоит, окидывая большими натруженными глазами это оглушительное и сплошное мельканье рук. Он слышит, как из всех ярусов, из всех лож кричат:

– Браво, браво, Маяковский!.. Хорошо, Маяковский!.. Спасибо!..

Он улыбается, усталый и благодарный, и видит, как за барьером правительственной ложи, протянув к нему руки, взволнованно аплодируют те, кому партия, народ, страна доверили вести великое ленинское дело дальше…

Двадцать лет работы

И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Двадцать лет не выпуская из рук пера, работает Маяковский. И в конце 1929 года он решает подвести некоторые итоги тому, что сделано. Он не хочет юбилеев, его не трогают круглые даты, он не собирается отдохновенно с высоты своей славы взирать на пройденное. «Пусть серебро годов вызванивает уймой», пусть уже «сед височный блеск» – в душе у него по-прежнему нет «ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней». Но ему просто интересно сделать смотр армии своих стихов, показать всем, как она боеспособна, как велика и грозна.

Сперва друзья устраивают ему шуточный домашний юбилей.

За два дня до Нового года, 30 декабря, товарищи поэта – писатели, артисты, режиссеры, поэты, чекисты, художники – вечером приходят в Гендриков. Маяковского отослали на Лубянский проезд, в его рабочий кабинет, и просят не являться раньше времени, пока все не будет готово.

Из маленькой столовой выносят стол, чтобы было просторнее. Старые афиши, собранные за много лет, украшают стены квартиры. Даже на потолок наклеили большую, длинную афишу, и красные буквы разбежались наверху от стены до стены: «М-а-я-к-о-в-с-к-и-й». Все теснее и теснее становится в квартирке. Из театра приносят костюмы. Гости роются в ворохах ярких тканей, надевают на себя шарфы, плащи, камзолы, репетируют смешную юбилейную кантату.

Сам Мейерхольд костюмирует нас, двумя-тремя движениями своих магических рук, одному приделав перо, другому накинув шарф, третьему плащ, неузнаваемо преображая каждого. И мы распеваем:

Здесь Мейерхольд,
и не один…
Здесь Мейерхольд,

и не один!
С ним костюмерный магазин…

Ждем Владимира Владимировича.

Свет автомобильных фар заглядывает в Гендриков переулок. У ворот гаркает сирена. На лестнице слышны шаги. Громыхает дверь в парадном, и входит Маяковский – нарядный, свежевыбритый, усмехающийся. Он ставит трость в угол, вешает пальто, прихлопывает верх вешалки своей шапкой. Его обнимают и уводят в столовую. Мы запеваем кантату:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура, ура, ура!..

Мы поем, выстроившись полукругом. Маяковский застенчиво и широко улыбается, стараясь сохранить серьезность. Кантата продолжается:

Кантаты нашей строен крик,
Наш запевала Ося Брик.
Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура, ура, ура!..

Потом на середину комнаты выносят стул. Маяковского усаживают. Он берет одной рукой стул, подымает его, поворачивает спинкой вперед и садится верхом. Надевает на себя большую маску из папье-маше – голова козла.

– Надо иметь нормальное лицо юбиляра, чтобы соответствовать юбилейному блеянию.

Снова исполняется кантата. Дирижирует поэт Кирсанов. Потом начинается комическое чествование.

Асеев изображает одного из тугоухих критиков, который давно уже допекает Маяковского своими неумными выступлениями. Он говорит длинную приветственную речь, и только в конце выясняется, что критик перепутал и пришел чествовать совсем другого поэта, а не Маяковского.

В. Каменский, сидя на низком диване, играет туш на гармошке.

Потом Маяковского чествуют «от подрастающего поколения». Дочь одного из художников, одетая маленькой девочкой, волнуясь, подносит перевязанный розовой ленточкой свиток стихов:

И все теперь твои мы дети,
В том смысле, что ученики…

Маяковский нежно блеет из-под своей маски.

После чествования мы разыгрываем шарады, причем

Маяковский должен догадаться сам, какие строки из его стихов мы загадали.

Николая Николаевича Асеева сажают рядом с женой на диван. Что это за цитата? Маяковский догадывается: «Маленькая, но семья».

Это строки из стихотворения «Юбилейное»:

Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может. Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.

Потом один из нас садится за стол, а другой с сердитым видом вынимает из кармана вечную ручку, с размаху кладет на стол и уходит.

– Понял, понял! – кричит Маяковский.– «Разговор с фининспектором»: «Вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!»

Поздно ночью Маяковского упрашивают прочесть какие-нибудь прежние его стихи. Он долго отнекивается, жалуется, что глотка сдала, что все давно им сделанное сейчас уже неинтересно. Его упрашивают дружным хором, умоляют, увещевают. И он, шумно вздохнув, сдается. Сперва он читает «Хорошее отношение к лошадям». Он встает и, взявшись рукой за угол шкафа, обведя нас медленным, навсегда запоминающимся взглядом, читает негромко и с внезапной угрюмостью:

Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб…

Он читает, постепенно добрея, строка за строкой отпуская голос. И вот уже читает щедро и полновластно. И разом все посерьезнели вокруг. Уже не шутка, не веселые именины поэта, не вечеринка приятелей – всех нас вдруг прохватывает, как сквозняк пройдя по всем извилинам мозга, догадка, что минуту эту надо запомнить.

И вдруг с какой-то очень простой и несомненной ясностью, так, что захолонуло сердце, никем не произнесенное, но каждым подслушанное, возникает слово: История. И стены не то стали прозрачными, не то совсем ушли, далеко стало видно окрест. И время загудело в ушах.

А он читает, глядя куда-то сквозь стены:

«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».

И ворочает саженными плечами, словно впряженный в какие-то огромные оглобли, словно круто ступая в гору…

И всё ей казалось – она жеребенок, и стоило жить, и работать стоило.

Заглушая хлопки, сразу, едва закончив, он говорит:

– Старо все это! Старо! Надоело. У меня вот новые стихи выкарабкиваются. Вот это будет действительно стих! Увидите. Лучше всего, что я написал.

И хотя он читает по просьбе гостей еще стихотворение «История про бублики и про бабу, не признающую республики», но смотрит он уже поверх нас, поверх стихов. Он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые повелительно гудят в нем.

И, мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем. Что-то

беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое проступает в нем.

Очень поздно, почти к утру уже, приезжает один неожиданный гость. Он когда-то был близок с Маяковским, шел с ним рядом в жизни, работал вместе. Но потом перестал понимать Маяковского, стал отставать, сбиваясь в сторону, вняв голосам, которые казались ему благоразумными. Этого человека уговорили, что не по пути ему

с Маяковским, что загубит он себя, что не по плечу ему, не по дыханию крутизна, избранная для себя Маяковским. И враги потихоньку потирали руки, когда им удалось отбить его у Маяковского.

Сегодня он пришел, чтобы обнять Маяковского и, забыв раздор, поздравить. Долгие годы дружбы связывают их.

– Я соскучился по вас, Володя! Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги.

Но Маяковский, медленно отвернувшись, говорит, не глядя на гостя:

– Ничего не понял. Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуговица: сегодня оторвал – завтра пришить можно обратно… От меня людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдет.

И тот, забыв шапку в передней, выбегает на мороз. Кто-то из гостей догоняет его, сует шапку. Он идет по Гендрикову с непокрытой головой, держа шапку в руках.

* * *

В январе 1930 года Маяковский готовит выставку «20 лет работы». Не словесного, а делового, серьезного признания хочет он добиться этой выставкой. Он готовит армию своих стихов к новому наступлению. Он хочет показать, как он вооружен.

Не все даже близкие друзья понимают его.

Некоторые из старых товарищей Маяковского полагают, что надо делать общую выставку левого искусства, устроить какой-то юбилей футуризма. Маяковский не соглашается с этим. Футуризм как таковой давно уже умер. Речь идет о боевой работе советского поэта. Ее хочет показать Маяковский, за нее хочет он агитировать своей выставкой. Не любоваться своим прошлым, а, показав сегодняшнюю работу, тащить литературу в будущее – вот чего добивается Маяковский.

Он никогда в жизни не останавливается на достигнутом. Когда надо было утверждать в советской литературе новые

принципы работы, новые задачи поэта, он организовал Леф – Левый фронт искусства. Он был редактором журнала «Леф».

Революция растет и предъявляет новые требования. Маяковский создает «Новый леф». Как только он замечает, что его литературная группа, держась за провозглашенные ею лозунги, отстает от живых повседневных дел советского искусства, он пересматривает старые положения, заменяет их новыми, более нужными сейчас. Уже не Леф, а Реф – Революционный фронт искусства. Но объединение друзей, соратников, товарищей не может превратиться в литературный салон, который, храня ветшающие традиции, мешает поэту расти и меняться.

Маяковский сам, своими силами организует выставку. Ему помогает молодежь.

Первого февраля эта выставка открывается. Она показывает такой размах, такое разнообразие поэтической работы Маяковского, каких еще не знал ни один писатель, ни один поэт в мире. Здесь и книги на многих языках, и политические брошюры, и афиши театров, и киносценарии, и детские книжки, и газетные статьи, и стихотворные плакаты, и лозунги, и реклама, и санитарные правила в стихах, и листовки, и конфетные обертки.

На открытии выставки Маяковский читает собравшимся первое вступление к большой начатой им поэме о пятилетке – «Во весь голос».

Слушающие его потрясены. Опять чем-то совсем новым наполнился голос Маяковского. Так вот о каких стихах говорил Маяковский дома, на своем шуточном юбилее! Так вот что созревало в нем еще тогда…

«Во весь голос»—это разговор Маяковского с будущим. Человек решительный, прямодушный и смело глядящий в завтра, он через головы критиков, через «хребты годов» решил сам договориться с товарищами потомками. «Агитатор, горлан, главарь», он обращается к ним и с гордостью рассказывает о наших днях и о своей поэтической работе. Он разговаривает с людьми будущего «как живой с живыми». Для них, для будущих счастливцев, вылизывал он «чахоткины плевки шершавым языком плаката». Этих счастливцев рассмотрел он сквозь сутолоку будней, сквозь «будничную чушь».

И он гордо убежден, что будущее по-настоящему оценит и примет его, когда он, поэт, явится туда, предъявив «все сто томов» своих «партийных книжек».

Долго не расходятся люди с выставки. Маяковский ходит от щита к щиту, водя за собой тесно обступивших его комсомольцев, студентов, рассказывая о своей работе. «Парадом развернув своих страниц войска», проходит он «по строчечному фронту».

Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.

Владимир Владимирович зорко оглядывает стенды выставки, всматривается в окружающих его людей.

– А из поэтов никто, ни один почти на мою выставку не пришел! – вдруг говорит он и сразу мрачнеет.

Но его опять окружают, теребят расспросами, приглашают в университет, на завод, в институт, в школу. И ни-кто-никто из присутствующих не подозревает, что здесь, на выставке, они слышали поэтическое завещание поэта.

Четырнадцатое апреля

И – как в гибель дредноута…

Нрав у Маяковского драчливый. Он не скрывает этого. Всю жизнь он сам неутомимо нападает на халтурщиков, на литературных тунеядцев, на поэтов, которые ходят «кучерявыми барашками» и блеют на лирические любовные темы, гнушаясь работой агитатора, газетчика… Маяковский высмеивает их. Со всего плеча наносит он удары «банде поэтических рвачей и выжиг».

Ему мстят. Руганью, ехидными статьями или тупым молчанием отвечают Маяковскому некоторые враждебные ему журналы.

Даже такие гениальные поэмы Маяковского, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», эти люди встречают с подлыми усмешечками, придираются, хитренько пожимают плечами, слюняво, по-лакейски шепчут друг другу на ушко: «Это разве «Хорошо!»? Это «Хорошо-с!». Картонная поэма», – шипят они.

«Барабан с горошком», «Лапша рубленая» – так пишут критики о стихах Маяковского.

Противники в газетах сделали все, чтобы замолчать его выставку.

По приказу одного из них портрет Маяковского был выдран из уже отпечатанного журнала.

Проходит зима.

Маяковский по-прежнему работает, выступает, отругивается.

Сотни писем почтальон приносит к нему в Гендриков и на Лубянский проезд. На конвертах – штемпеля чуть не всех городов Союза. Ему шлют свои первые стихотворные опыты люди, бывшие вчера еще неграмотными. Его благодарят за лозунг, за ласку, за шутку, прозвучавшую вовремя, за верную поэтическую службу революции. Но по-прежнему в журналах поэта журят благожелательные дураки и бранят злонамеренные негодяи, по-прежнему травят его люди, считающие, что им поручено руководить советской литературой.

Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы.

Его пытаются укротить, приспособить к своим вкусам, а он идет своей дорогой, никуда не сворачивая. Мрачнея, стиснув зубы, до хрипоты надрывая голос, сражается Маяковский:

– Мы знаем десятки жгучих и важных проблем сегодняшнего дня. А где поэты? Куда, к черту, эти поэты запропастились? Их нет ни в одной газете.

Он утомлен и часто прихварывает. Ему вдруг начинает казаться, что он теряет голос.

– Мне без голоса нельзя. Мне без голоса и не жить. Я должен сам договориться с читателями. Мне надо целую свору переорать.

Лишь иной раз, устав, он признается:

– Уехать бы куда-нибудь в деревню и просидеть года два, чтоб только ругани не слышать!

Неудачная постановка его пьесы, вызвавшая радостное и злобное ликование врагов, глубоко удручает его. Люди, мнящие себя литературными судьями, на все лады распевают, что Маяковский не трибун революции, а мелкобуржуазный поэт богемы. Они боятся, как бы Горький снова не договорился с Маяковским. Они стараются разделить двух великих писателей, бегают, сплетничают, нашептывают. А он продолжает добиваться признания своей правоты. Он не сдается ни на минуту.

В 1925 году в далеких океанских водах он написал такую строфу:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Он давно вычеркнул эти строки из своих стихов. Он не хочет пройти косым дождем, он хочет пройти по стране грозовым проливнем, благодатным, омывающим и плодоносным.

И он продолжает работать по «мандату долга», неутомимо и неутолимо, не умея отдыхать, не умея освобождать вечно перегруженный мозг хоть на минуту от напряжения. По-прежнему берется он самоотверженно за обнаженные концы опаснейших тем, сводит их, не боясь разрядов. Всегда и всюду носит он в себе обрывки зачатых поэм, приглянувшиеся образы, пришедшие ему на слух новые рифмы. Всегда он наполнен гудением еще не отстоявшихся новых стихов. Он не умеет организовывать свою жизнь. И «в конце работы завком» не запирает его губы замком.

Этот «завод, вырабатывающий счастье», не знает простоя и выходных дней. Непростительно пережигает он себя. Приходит «страшнейшая из амортизации – амортизация сердца и души».

Небольшая размолвка с друзьями, временный отъезд самых близких людей обрекают его на одиночество. И совпавшая с этим маленькая личная авария, которая в обычное время лишь встряхнула бы, теперь на всем ходу сбрасывает его с рельсов.

Весной я застаю его случайно на одном литературном сборище. Он стоит, всем там чужой, очень большой, молчаливый, тяжеловесный, а около него вьется несколько говорунов. Развязно поглядывают они на него снизу вверх. Им кажется, что он уже ручной. Они уже не боятся. И таким похожим он мне показался вдруг на огромный отбившийся дредноут, который, чтобы спастись от гибели в пустых водах, сам добровольно выбросился на мелкое место и счищает со своих боков налипшие ракушки, «водорослей бороду зеленую и медуз малиновую слизь!» Но «скучно здесь, нехорошо и мокро… Здесь от скуки отсыреет и броня»… Никто не спросит его, как спрашивал он у парохода «Теодор Нетте»: «Тебе не мелко?.. Чай, котлами покипел»?..»

Нет, расторопные «литературоеды» довольны, что забрел к ним могучий броненосец. И карабкаются на него со своими чернильными дротиками, юлят вокруг него па своих утлых пирогах. И какой-то развинченный молодой человек вскользь спрашивает Маяковского:

– Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали, или они сами… Когда же вы застрелитесь?

Маяковский, с отвращением вздрогнув, медленно говорит:

– Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться…

* * *

14 апреля в далекой бессарабской коммуне имени Котовского, в бывшем палаццо какого-то магната, я рассказываю коммунарам о Маяковском. Читаю стихи: сначала полегче, потом потруднее. Бывшие котовцы, лихие рубаки, еще не снявшие желтых, повыцветших кавалерийских фуражек, их жинки и комсомольцы коммуны сидят в зале.

– Понятны вам эти стихи?

– Понятно все до точки. Горло прополоскайте, та еще просим.

Читаю и читаю. Расспрашивают, какой он человек, Маяковский, есть ли у него семья, откуда он научился писать так.

Почему: слушать его – так все поймешь, а сам читаешь – так спотыкаешься?

Поздно ночью кончаем мы разговор о Маяковском. Комсомольцы идут в общежитие коммуны, заучивая:

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Утром в доме коммуны я сижу на пионерском собрании. Вдруг вбегает, встревоженный, один из вчерашних слушателей-коммунаров. Манит меня пальцем. Я выхожу в сени.

– Там до вас телеграммы из Москвы. Щось таке с Маяковским?..

Не дослушав, я бегу в контору коммуны. Члены правления коммуны сидят вокруг стола. Две телеграммы лежат перед секретарем. Завидя меня, все молча встают.

Я подбегаю к столу, хватаю телеграмму.

«Маяковский застрелился».

Растерянные, стоят вокруг меня коммунары. Только вчера им впервые открылся целый мир Маяковского. И вот уже рухнул.

Не верят. Не может быть!.. И я не верю. Маяковский, который так любит жить, который столько сделал для жизни… Такой громкий, разве он может затихнуть? Так широко шагающий, разве он может оступиться?.. Люди бледнеют. Но я еще пытаюсь уговорить себя и других, что это вздорный слух, глупая первоапрельская шутка: ведь телеграмма дана 14-го, по старому 1 апреля.

Мы бежим через местечко Ободивку к почте. Даю «молнию» в Москву. Вежливый почтарь возвращает мне телеграмму.

– Напрасно тратиться будете, гражданин. Я по радио сам слышал.

Ночью я сажусь в проходящий московский поезд. Страшно оставаться одному до утра. Я иду в купе проводника, и мы всю ночь говорим о поэте.

– Как же не знать! – говорит пожилой проводник.– Я его в своем вагоне в Одессу возил. Он ночью все, бывало, по коридору прогуливался – туда-сюда, туда-сюда. Все соображал чего-то. Ходит и подговаривает.

За окнами вагона идут пространства страны, но в ней уже нет Маяковского. С каждой станцией весть и горе становятся все пронзительнее и выше, как гудок мчащегося навстречу паровоза. Некуда укрыться. Маяковский был слишком огромен, чтобы

можно было найти уголок, где его гибель не ощущалась бы. Он ушел в неоплатном долгу

…перед Бродвейской лампиониеи,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

И весенние, еще не вспаханные поля за вагонными окнами листаются как огромные неоплаченные счета поэту.

Утром в вагонных коридорах идут толки и разговоры о нем. И кажется, что мы с ходу грудью налетели на острие этой вести и оно пронзило насквозь весь поезд, от паровоза до последнего вагона.

Умываясь, на загаженных, исхоженных грязными подошвами кафелях я вижу прилипшие обрывки киевской газеты. Ножичком отдираю их, несу осторожно, мокрые и грязные, к себе в купе, расстилаю на столике.

«Мамо, сестро, товарищи. виходів немае… …Лиля, люби мене…»

Так читаю я предсмертное письмо его, переведенное уже на украинский…

С вокзала – прямо в последний караул. Тихая, бесконечная, как колея под арбой, мелодия грузинского оркестра. Осунувшиеся лица друзей, пересохшие, до дна выплаканные глаза. А в соседней комнате мама, Александра Алексеевна.

– Мне все его ругали: футурист он у вас… футурист. А я говорю: «Что ж, что футурист… Все равно хороший он…»

И здесь, в Москве, тоже не сразу поверили. Думали, шутка, глупая острота. А он уже лежал у себя в рабочем кабинете на Лубянском проезде, грохнувшись после выстрела лицом вниз, наискось через всю комнату. Левша с детства, он нацелил себе в сердце левой рукой и не промахнулся.

Назойливо стучатся в уши, словно кем-то произносимые в этой грустной тишине строки, давным-давно им написанные: «А самое страшное вы видели – лицо мое, когда я абсолютно спокоен?..» Да, никогда я еще не видел это лицо совершенно спокойным. Всегда оно озарялось либо молниями гнева, либо сосредоточенным огнем внимания, или отсветами искрящейся шутки. Первый раз я вижу его абсолютно спокойным. И это

правда самое страшное…

Потрясенная, недоумевающая, третий день не иссякаемая, идет Москва к его гробу.

Впервые его действительно не понимают рабочие и крестьяне. И шофер такси, которому, бывало, скажешь: «На Таганку, в Гендриков», который обернется, спросит: «Не к Маяковскому ли?»—и мчит к общему знакомому, – шофер такси сегодня, услышав: «На улицу Воровского», – понимающе, не оборачиваясь, кивает: «К Маяковскому».

Сплошной двойной стеной стоит народ – от Кудринки до Донского монастыря, по всей трассе последнего шествия поэта. На всех балконах люди. Приглушенный грохот кровельной жести плывет над шествием: люди – на всех крышах. У крематория стиснутые толпой лошади милиционеров встают на дыбы. Приходится стрелять в воздух, чтобы остановить тяжелый накат людской волны, готовой смять передних.

Громада поэзии Маяковского не рухнула. Ее поддержали миллионы рук, крепких и жадных до большого, умного искусства.

Жилая площадь поэта

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань…

К этому дому в скромном переулке за Таганской площадью молодые поэты приближаются с таким примерно чувством, с каким юнга или молодой нахимовец подходит к трапу легендарного броненосца, стоящего ныне у причала невских берегов.

Тихий переулок за Таганкой «огромила» всемирная слава. Сколько раз из конца в конец мерил его своими саженными шагами знаменитый поэт! Как памятны раскаты голоса, который словно оковывал медью баса этот переулок! И кто из ныне работающих в литературе хотя бы раз в жизни не пришел сюда?.. Или тогда, когда переулок был захолустным, глуховатым, каким остался на старой фотографии. Или в наши дни, когда стихи поэта, прежде звучавшие из раскрытых окон этого дома, сегодня будто сами проступили на высокой стене соседнего здания. Там высоко над окнами, стояками над всем пространством от подвалов до чердаков, подобно «шапке» над газетной полосой, ныне оттиснуто крупными красными буквами:

Я всю свою звонкую силу поэта
Тебе отдаю, атакующий класс.

Эта надпись, как эпиграф, закреплена над переулком, который теперь носит имя поэта, – переулок Маяковского.

Здесь с 1926 года жил Владимир Владимирович Маяковский. Теперь тут музей-библиотека имени поэта.

Расчищено пространство на подступах к дому, подобно тому как сметено все, что когда-то искусственно мешало новому читателю войти в мир поэзии Маяковского. Снесены мелкие постройки, что торчали на углу бывшего Тендрякова переулка, тесный захламленный дворик сегодня превращен в зеленый сквер, хорошо видный за сквозной легкой оградой. Но сохранилось знакомое крыльцо с навесом, крыльцо, к которому еще при жизни поэта так неотвратимо влекло, так неодолимо тянуло революционную молодежь.

Лестница, крутые ступеньки которой легко перемахивал в несколько шагов Маяковский, когда ладилась жизнь и работа, или

по которой трудно всходил, отжимая тяжело ступеньку за ступенькой, когда обида томила сердце, – эта лестница сейчас закрыта. И, чтобы попасть наверх, надо подняться по новой внутренней лесенке из вестибюля библиотеки.

Но вот она, всегда готовая, как и прежде, гостеприимно открыться дверь в квартиру поэта. Сколько из нас вышло в литературу, в поэзию или на другую правильную трудовую дорогу именно через эту дверь! Кто только не стучался, не звонил, не томился в первом авторском волнении возле этой скромной, обитой клеенкой двери!..

Она открывается…

И за ней видна знакомая передняя и слева около зеркала на вешалке его шляпа, пальто, трость. Словно хозяин поэт только что вернулся домой и прошел к себе, приглашая радушно следовать за ним в его рабочую комнату.

Две выходящие в переднюю комнатки, где прежде жили ближайшие друзья поэта, товарищи по жизни и работе, сейчас заняты экспозицией. В одной, слева, дореволюционные произведения Маяковского. Во второй – работы Маяковского в послеоктябрьский период.

А дверь направо из передней ведет в маленькую светлую столовую.

Здесь все сохранилось в том виде, порядке и состоянии, в каком это подчинялось при жизни поэта его чистому вкусу, скромным привычкам и строгим требованиям его труда.

Ощущение света, проветренности и особой взыскательной чистоты, которое охватывало меня всякий раз, когда я приходил к Маяковскому, возникает и сегодня, едва входишь в эту простенькую, но очень уютную, лишенную каких бы то ни было претензий на роскошь и в то же время весело нарядную столовую.

Глянцево отсвечивают крашеные и словно свежевымытые полы, две низенькие удобные банкетки в полосатых чехлах расположены по бокам высокой молочно-белой кафельной печи, возле которой, прислонясь к ней спиной, любил читать друзьям свои новые стихи Владимир Владимирович.

Как всегда, стоят живые цветы на маленьком обеденном столе. Когда собирался народ у Маяковского, стол этот раздвигали и ставили по диагонали из угла в угол маленькой столовой, чтобы могло усесться побольше… Справа у дверей на комнатном леднике возле большого синего цветастого чайника – грудой журналы, газеты, очередная почта одного из тех дней, когда был жив хозяин квартиры. Сумка письмоносца обычно пустела на добрую половину, когда он оставлял здесь почту, бандероли, письма, адресованные в Гендриков Маяковскому.

Встав утром, выйдя из своей комнатки в столовую, Владимир Владимирович первым делом шел к этому углу и брался за газеты, за журналы, за письма – «обтирание злободневностью».

А в это время обычно в противоположном конце комнаты уже начинал трезвонить телефон. Вот этот знакомый всем нам телефон:

2-35-79.

И, оттянув на длинном шнуре трубку, Маяковский уходил в свою комнату, где на столе ждала его раскрытая записная книжка и рядом – автоматическая ручка с уже обнаженным пером.

Здесь и сегодня все так же выглядит, будто Маяковский лишь на мгновение прервал работу, вызванный к телефону…

Какая-то корабельная чистота, строгий уют маленького, отлично организованного пространства. Обстановка, в которой все просто и удобно для жилья и работы, усиливает сходство комнатки с каютой. Да, это каюта капитана.

Ничего лишнего, только то, что необходимо.

Очень простой, невысокий шкаф с небольшим зеркалом, под которым откидывается вырезанная в дверце полка для бритья. Тахта, покрытая мексиканским плащом, превращенным в коврик. И рабочий письменный стол-бюро, где все удобно, все под рукой.

В шкафу, если откинуть полочку для бритья, виден клетчатый джемпер, хорошо известный всем по портрету Маяковского, сфотографированного на выставке «20 лет работы». Все под рукой. Но мир огромен, и до него не дотянуться, сидя за столом. И все здесь как будто в пути. Все выглядит компактным, дорожным, находящимся в движении.

Предметы обихода, которые нужны были Маяковскому в его постоянных путешествиях, напоминают об этом. Ведь он «земной шар чуть не весь обошел»! И недаром стоит на шкафу маленький школьный глобус, всегда находившийся в комнате Маяковского. «Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг!» – говорит поэт. Полпредом советского стиха он изъездил Европу и Америку, чтобы нести по свету мысли, «не боящиеся депортации», чтобы «стихом побрататься» с трудовым народом других стран и материков.

Не терпевший грязи, где бы она ни была – в людских отношениях, в человеческом сердце или в стихотворной! строке, – он был и в быту исключительно опрятен. Применявшийся к самым трудным условиям жизни, неприхотливый, он и дома и в дороге требовал лишь одного – чистоты. И правда, нет никакого преувеличения в строках его, где он признавался, что, «кроме свежевымытой сорочки», ему ничего не надо. Сохранился среди дорожных его вещей маленький резиновый тазик-ванна, который

ой неизменно возил с собой и однажды описал в рассказе «Как я ее рассмешил».

Бережно собраны тут многочисленные записные книжки поэта с черновиками, с заготовками стихов, с записями рифм. Мы помним, какое значение придавал всей этой предварительной работе Маяковский… Но трудно сегодня без волнения читать на страницах этих маленьких карманных книжек слова и строки, давно уже ставшие известными миллионам людей и у нас и во всех уголках мира. А вот оно, то самое рабочее «стило» поэта – автоматическая ручка, которую я столько раз видел торчавшей из кармана Владимира Владимировича. Это ее в сердцах предложил поэт тому, кто полагал, будто в поэзии «всего делов – это пользоваться чужими словесами…»

Здесь жил он, наш великий старший товарищ, нага Маяк, как называли его сокращенно и уважительно друзья, правившие сюда на мощный свет его сердца.

А рядом, в соседнем помещении верхнего этажа этого дома и внизу, живет он и сейчас – Владимир Маяковский, первый поэт величайшей эпохи. Ныне «жилплощадь» ею – весь мир. Висят яркие «крикогубые» афиши, рассказывающие о бесчисленных выступлениях Маяковского перед читателями в самых отдаленных уголках нашей советской земли, Европы и Америки. Плакаты из «Окон сатиры РОСТА»… Маяковский сам говорил, что стихотворных подписей к этим плакатам он сочинил столько, чтй хватило бы на «второе собрание сочинений».

Сбылось предсказание поэта, что «через годы – над этими окнами будут корпеть ученые, сохраняя от времени сквернекую бумагу… Это красочная история трех боевейших годов Союза… Это – предки… всех советских сатирических журналов…»

Внизу под квартирой, где мы так часто бывали у Маяковского, сейчас находится новый, пристроенный к дому светлый полукруглый читальный зал. Если комнатка-кабинет Маяковского во всем напоминает капитанскую каюту, то зал читальни смахивает на нарядный и уютный салон-рубку большого парохода. Зал никогда не пустует. Всегда здесь встретишь молодежь, студентов, школьников. И сидит среди них какой-нибудь почтенный литературовед, заглянувший сюда, чтобы уточнить что-то из поэтического наследия Маяковского.

А наверху хранится книга стихов Маяковского, пробитая пулей и закапанная кровью бойца Советской Армии: солдат шел в бой, а в нагрудном кармане у него была книжечка любимого поэта…

И стоит модель танка «Владимир Маяковский». Его построил на средства, собранные концертами, один из лучших

исполнителей стихов поэта – Владимир Николаевич Яхонтов. Танк этот прошел сквозь бои Великой Отечественной войны до самого Берлина. Неподалеку высятся стенды, с которых Маяковский звучит как бдительный и надежный участник сегодняшней всенародной борьбы за мир. Стихи Маяковского приняты на знамена борцов, отстаивающих дело демократии и мира.

Вот высказывания крупнейших прогрессивных деятелей человечества, отдающих дань глубокого уважения и беспримерного восхищения нашему поэту.

Запись Назыма Хикмета, который, посетив этот дорогой нам дом, как бы снова пожал «сильную руку друга».

И на других страницах слова любви и братского восторга, адресованные Маяковскому Полем Робсоном, Луи Арагоном, Жоржи Амаду, Пабло Нерудой, Людмилом Стояновым, Иоганнесом Бехером.

Живые, пристальные, горящие глаза Маяковского снова смотрят на меня здесь с каждой стены, с десятков фотопортретов. И снова еще и еще раз с необоримой радостью ощущаешь, что дом в переулке за Таганской площадью – это не «прошедшего возвышенный корабль, о время зацепившийся и севший на мель», каким показался Маяковскому в Париже Нотр-Дам…

Нет, это стоящий в строю, грозно оснащенный броненосец, у которого не ступлен киль. Он стоит не на мертвом причале, он поныне на открытом рейде, на ходовом фарватере поэзии, отплывающей в завтра…

Такие люди, как Маяковский, не уходят в прошлое. Они всегда зовут в будущее. Пример их гения, труда и подвига влечет за собой. И мы идем за ним, как ходили во время войны наши солдаты за огневым артиллерийским валом.

Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.

Дальнобойные поэтические орудия Маяковского, чей флаг остался поднятым на рейде, шлют снаряды-стихи. Они гудят у нас высоко над нашим днем, рвутся далеко впереди, сокрушая все нам противное, проламывая его оборону и открывая нам дорогу для движения вперед.

Путь Маяковского, начавшийся в маленьком домике села Багдади, ныне присвоившего имя поэта, в маленьком домике над горной речкой Ханис-Цхали, прошел через переулок, где мы

столько раз бывали у поэта в гостях, и вывел поэта-великана на широкую Триумфальную площадь в столице нашей Родины. Сейчас она называется площадью Маяковского.

Столица посвятила свою Триумфальную площадь имени и памяти поэта. Вот где он прописан навечно в Москве…

Давно уже под площадью находится чудесный подземный дворец – красивейшая из станций Московского метрополитена «Маяковская». Нержавеющей сталью отделана она. Архитектор, строивший станцию, выбрал для ее отделки этот суровый, скромный и благородный металл, никогда не шедший на брелоки и разменную монету. Эта сталь не боится ржавчины.

Строгий и негнущийся, прочный и верный, металл этот сродни стиху Маяковского.

И так чужеродна смерть нашему представлению о неистовом поэте, что долгие годы, бывало, когда входишь в вестибюль станции, казалось и верилось: вот сейчас эскалатор, крутой, бегучий, ступенчатый, словно строка Маяковского, вынесет «с-под площади» знакомую плечистую фигуру, и, грохая тростью, зашагает махина по жизни твердо и размашисто…

Вот и пришел день, летний день 1958 года, когда, шагнув из стиха в бронзу, встал он в центре площади на гранитной скале. Утвердился прочно, во весь рост, в такой знакомой стойке, развернув плечи, во всей крупной и крутой стати своей, сам – дерзостный вызов старому миру, сам – непреклонное утверждение нового: Владимир Маяковский, не вчерашний, весь сегодняшний, весь завтрашний и – навсегдашний.

Москва,1940,1959

notes

Примечания

1

Гамарджоба – грузинское приветствие.